

**Генрих Манн.
Минерва**

I

Проперция Понти прибыла в Венецию. Герцогиня давала в честь нее празднество. Это было в мае 1882 года.

Подъехала гондола скульпторши: весть об этом облетела весь дом. Он был уже полон гостей, и все бросились ко входу. Герцогиня с трудом достигла лестницы. Впереди нее шел Якобус Гальм с одним из своих друзей, господином Готфридом фон Зибелинд, и прокладывал ей дорогу. Сан-Бакко следовал за ней с графом Долан, венецианским патрицием. Граф сказал:

-- Я никогда не покидал Венеции. Словом "никогда" я хочу сказать, что мои отлучки не стоят того, чтобы говорить о них. Но ни во времена немцев, ни позднее я не видел подобного празднества. Я думаю, нечто подобное видел только великий Паоло, да и то лишь оставаясь наедине со своим полотном.

Герцогиня обернулась.

-- Я думаю, граф, что и мы наедине со своим полотном. Празднества в Венеции! В последний год австрийского владычества в этот дворец было завезено триста карточек. После моего переселения сюда я не сделала и пятидесяти визитов. Но я пригласила бы своих поставщиков и опустошила бы отели, чтобы наполнить свои залы гостями!

-- Ага! -- воскликнул Долан. -- Каждый человек -- только мазок для нашего полотна.

По его дряблой коже скользнул нежный румянец. Он был мал ростом, лыс, и лицо у него было безбородое, худое, изможденное. Голова со слабым подбородком и длинным, подвижным носом покачивалась на бессильной шее; убогая, некрасивая и голая выглядывала она из чересчур широкого платья. Такому знатоку и ценителю форм и красок, как Долан, следовало бы быть очень недовольным всем этим. Но углы его узких губ были сладко приподняты кверху и окружены самодовольными морщинками, а черные глаза глядели из-под тяжелых век, как будто заглядывая в чужие души с враждебным -- и в то же время счастливым выражением.

Господин фон Зибелинд волочил за собой одну ногу; голос у него тоже был тягучий.

-- Слишком пышно! -- вздохнул он. -- Меня это угнетает.

Якобус внимательно посмотрел на него. Его красный, весь в коричневых точках, лоб под светло-белокурыми волосами был покрыт потом. Красновато-карие блестящие глаза обводили взглядом все вокруг: тяжелый потолок из золотых листьев, казалось, шумевших под снопами света, -- увитые венками головы диких зверей, сверкающие и грозные, -- стены, полные больших, холодных или похотливых тел, царивших над всеми, кто смотрел на них.

-- У вас опять момент слабости, -- сказал художник. -- Тем не менее вам когда-нибудь поставят в этом доме памятник, мой милый Зибелинд. Все это не было бы так великолепно, если бы не ваше умение делать находки.

И он провел рукой по фигуре нагой, шествующей женщины, выделявшейся на лиловой вышивке павлиньих перьев.

-- Только эта Фама? -- сказал Зибелинд. -- Покажите мне и нагую Юдифь, вон там, напротив: воплощенное кощунство. Покажите мне нагого мальчика, ловящего мяч, нагого фокусника, стоящего на руках, нагую женщину на спине этого грязного кентавра... Все это, да и не только это, я разыскал в самых пыльных углах, под мостами, в шестых этажах и под землей. Поразительное умение делать находки, совершенно верно, мой милый. У меня нюх, как у прокурора на моей родине или у консистерского советника. От меня нагота не укроется! Я бросаюсь на нее, стиснув зубы. Вы, дрожащий Якобус, любите наготу, но вы не откроете и половины тех нагих тел, которые лезут мне на глаза, потому что я ненавижу их.

Фон Зибелинд произнес все это, гнуся, тоном раздражительного и мужественного человека. Он делал свои признания допустимыми, придавая им оттенок светской иронии. Якобус засмеялся.

-- Вы великолепны и очень полезны.

Группы любопытных толкали их то туда, то сюда. Наконец, лавируя среди толпы, они достигли первых ступенек, ведущих вниз на площадку, где лестница раздваивалась. Она отлого и спокойно спускалась вниз двумя величественными каменными потоками в пышном одеянии ковров, сдавленная с обеих сторон широкими перилами. Они остановились, по обе стороны герцогини, на широком балконе, который господствовал над высокой галереей, между сверкающими малахитовыми колоннами, мощно покоившимися на мраморных спинах больших львов.

Вверх и вниз двигалась толпа, и вместе с ней, вдоль перил, в глубину галереи спускались бронзовые статуи. Хоровод их проходил посредине огромной передней и доходил до самых ворот, у которых стояла Проперция. Она была в красном плаще, и ее творения протягивали к ней руки.

Она не отвечала на их приветствия. Ее взгляд, медленный и чуждый, обводил толпу людей. Они с любопытным шепотом окружали ее, но не смели приблизиться из почтения. Герцогиня видела это сверху; она сказала себе, что Проперция борется со страхом перед одинокой жизнью. "Мортейль женится, и она приехала, чтобы упиться своим горем".

Она кивнула художнице, которая не заметила этого, и пошла ей навстречу. Остальные остались сзади. Граф Долан поднялся на цыпочки и захлопал в ладоши. Он крикнул через перила необычайно низким и звучным голосом:

-- Синьора Проперция, садитесь рядом с дамой в белом бархате, восседающей у моря под золотым балдахином. Негры-невольники воздадут почести и вам, синьора Проперция.

Гостья подняла свой печальный взор к пылающим далям, где в благоухании весенних ландшафтов свершались благоговейные венчания

на царство, где происходили торжественные празднества. Там, на белых террасах, под вздувающимися парчовыми палатками суровые, темные воины нежно поднимали над миром златокудрую королеву, которая царила только потому, что была прекрасна. За этой случайной толпой людей и смешивая с ней, галерею оживляла другая толпа: нарисованная толпа великолепных и благородных любителей веселья, в колоннадах, на опоясанных статуями зубцах дворцов, на балконах воздушных колоколен - купающаяся в синеве и залитая потоками света. Перед глазами Проперции празднества продолжались бесконечно, уходя в свободный мир радости. Радостные голоса, носившиеся по всему дому, счастливые жесты, украшавшие его, принадлежали этим нарисованным. Своими светлыми одеждами, спокойными лицами и сильными поступками они опьяняли гостей. Все лица сияли отражением их жизненной полноты. Проперция смотрела на них с тупой завистью. "Я никогда не была как вы", -- думала она. "Но во что превратилась я теперь!"

Долан опять крикнул сверху:

-- Синьора Проперция, возьмите руку того худощавого пажа и дайте отвести себя к герою; он смотрит со своего пьедестала на вас, он знает вас, синьора Проперция!

Сансоне Асси опирался ногой на искусно отлитую пушку, за которую продал французскому королю город Бергамо. Его статуя возвышалась у берега, и морские боги приплыли на дельфинах, чтобы полюбоваться им. Полнотелые гении льстиво увивались вокруг него, нимфы, целовали его пьедестал, а Слава, надув щеки, трубила в рог. Все на земле и на небе было занято героем. Только пажи, окутанные сладострастными одеждами женщин, прижимавшихся к бронзовому воину, не обращали на него внимания. Они были прекрасны, как день, и сладко испуганы соблазнами, окружавшими их. Проперция видела только счастливых пажей в их укромных уголках. В ней поднялось жгучее сожаление; слабость овладела ею.

В это мгновение перед ней очутилась герцогиня. Женщины обнялись и поцеловались. Они поднялись по лестнице и прошли по залам.

Фон Зибелинд обернулся еще раз и окинул взглядом галерею, разряженных женщин и веселых мужчин. Он медленно произнес:

-- Да, слишком пышно. Я хотел бы, чтобы пушка, которой чванится герой, разрядилась, или одна из прекрасных дам неожиданно разрешилась от бремени.

-- Да вы... -- воскликнул Якобус. -- Зачем же это?

-- Только для того, чтобы не совсем забыть о горе и страданиях.

-- Вы говорите серьезно?

-- Лишь настолько, насколько говоришь серьезно с друзьями, которых легко смутить, -- прогнусавил Зибелинд тоном светского человека.

Перед ними шла герцогиня с Проперцией. Ее сопровождали Долан и Сан-Бакко, а дорогу прокладывал господин де Мортель; он шел впереди и вел юную Клелию Долан. Жених и невеста шептались:

-- Она приехала. Она не могла жить без вас, Морис. Вы должны очень гордиться.

-- Несомненно. Она неудобна, но почетна. А вам, Клелия, это не мешает?

-- Почему же? Я тоже горжусь этим. Великая Проперция Понти любит моего жениха, -- подумайте только.

-- А ревность...

-- Ревность: ни один из нас, мой милый, не имеет права ревновать. Этого нет в договоре. Вы знаете, почему мы заключили его. Папа хочет вас в зятя, потому что вы носите хорошее имя, богаты, и в особенности потому, что вы принесете ему Фаустину, его милую Фаустину. Вы женитесь на венецианке, потому что вам не нравится ваше отечество в его теперешнем виде. Вы хотели бы из духа противоречия казаться самому себе большим аристократом. Вы бежите от демократии в самый тихий и изолированный уголок знати, какой вы могли найти, в палаццо на Большом канале. Вы избрали мой, и я не имею ничего против... Ведь вы не станете отрицать всего этого?

-- Вы слишком умны, Клелия.

Они остановились. Они находились в обширном, полном народа зале, где составлялись группы для танцев. Невидимые музыканты заиграли радостную мелодию. Но с галереи, которая тянулась наверху вдоль стен, донесся шум вееров. Прекраснейшие женщины длинными рядами перегибались далеко через перила, хлопали в ладоши и восклицали: "Да здравствует Проперция".

В середине комнаты возвышался бронзовый юноша; он стоял, откинув назад голову и подняв вверх руки. Они сливались с грудью, бедрами, плечами и стремительно, на кончиках пальцев отталкивающимися от пола ступнями в одну трепетную линию, выражавшую несказанное стремление к свету. Проперция даже не знала, что стоит возле своего свободнейшего творения. Толпа видела ее во всем ее блеске и была полна воодушевления. Она вяло, без радости, наклонила в знак благодарности голову. Герцогиня счастливо улыбалась.

-- Не прекрасно ли это? -- воскликнула она. -- Этот зал золотой. Здесь пышно цветут золотые арабески, в золотых фризах теснятся насильники-гномы, нам светят золотые полумесяцы, и геройские игры, охоты и деяния великих мира окружают нас в вихре округленных членов. Из чащи выбегает необузданная толпа нимф; она рвется нарушить молчание картины; но из мощно раскрытых ртов не доносится ни звука. Отвага, опираясь на льва, хватается за рог изобилия. Победоносный гладиатор хвастает и ликует. Трагик, с маской в руке, кипит божественной силой. На балконах неподвижно стоят золотые победители, герои, освободители, а вокруг них золотые леса поднимаются ввысь к целомудренному лунному свету, который зовется Дианой. Это зал Дианы.

Проперция вдруг сказала:

-- Диана там наверху, герцогиня -- вы.

Мортель, Зибелинд и Клелия Долан рассмеялись.

-- Ведь Диана белокура.

-- Якобус, вы знаете, кто такая Диана, -- возразила Проперция.

-- Я хотел только написать Диану вообще, -- сказал Якобус, краснея. -- Быть может, я написал Диану, которая воплотилась в тело герцогини Асси.

-- Может быть, это и так, -- сказали Долан и Сан-Бакко. Они с сомнением переглянулись.

Герцогиня заявила:

-- Быть может, я была ею. Теперь этого уж, наверно, нет.

И она пошла дальше. Проперция была погружена в созерцание старого, усталого человека, которому пышная нагая женщина надевала венок на голову.

-- Поздно, -- сказала она про себя. -- Он был, быть может, полон тщетной страсти. А она приходит теперь, когда он даже не может больше желать ее.

Якобус возразил ей.

-- Он великий художник и получает то, что заслужил.

Но она покачала головой. Ее огромные глаза, строгие, выпуклые и неподвижные, не отрывались от стройной спины юного Мортеля. Он шел, склонившись к белокурым волосам Клелии, большим узлом лежавшим на ее хрупком затылке. Она двигалась легко и неслышно, белая и благоуханная, как цветочная пыль. Проперция шла тяжело и с трудом. Фон Зибелинд сказал своему спутнику:

-- Она выбросила за борт все высшее достоинство; теперь за ним летит и обыкновенное приличие. Ее возлюбленный собирается жениться, она ездит вслед за женихом и невестой, и в толпе, восторженно приветствующей знаменитую женщину, она видит только девочку, которая отнимает у нее ее возлюбленного.

-- Это великое и жуткое зрелище, -- сказал Якобус.

-- Я нахожу его жалким и невероятно бесстыдным. Но оно действует очень благотворно, так как лишний раз показывает ничтожество так называемых великих людей.

-- Если на вас это действует благотворно... Сам Мортель, кажется, ничего не имеет против этого. Я видел, как он строил ей глазки за спиной малютки.

-- Как он любим!

Зибелинд фыркнул от ненависти.

-- Вы думаете, невинный художник, что ему хочется отказаться от своего изысканного положения -- положения холодного господина, отвергающего знаменитую во всей Европе женщину?

-- Вы думаете, он отвергает ее?

-- Из честолюбия, мой милый. Ведь о том, кто не хочет Проперции, будут говорить дольше, чем о том, кто обладал ею. И при этом -- сказать ли вам? -- в сущности, она ему нравится.

-- Вы внушаете мне страх, Зибелинд. В делах любви у вас две пары глаз.

-- У меня... ах, у меня... -- Лицо Зибелинда покрылось потом, его карие глаза со светлыми точками растерянно блуждали вокруг, а в голосе звучало скрытое отчаяние. Вдруг он овладел собой и прогнусавил:

-- Огромный опыт, почтеннейший. Само собой разумеется, когда я был еще молод и хорош собой.

И он глупо рассмеялся.

Стены зала, в котором они теперь стояли, были покрыты молочно-белым мрамором, подернутым розовой дымкой. Кое-где его прерывали плоские колонки, выложенные серебром и голубыми камнями. Посреди зала находился круглый маленький бассейн из голубого камня. Играющая на скрипке муза отражалась в воде бассейна, а на его серебряных краях плясали хрупкие амурчики. В зале почти не было людей. Герцогиня сказала Проперции:

-- Этот зал я люблю, он серебряный. На потолке над нами царят боги; их ноги упираются в мраморные капители. Богини в серебряных шлемах, с большими светлыми грудями, лежат на прозрачных подушках из облаков, в глубоком, сияющем небе. Они ослепительно белокуры и белы, они добры, у них узкие колени, и они покрыты драгоценностями. Боги, чернокудрые, стройные, с глазами, полными прекрасных желаний, всегда остаются юношами; но их души становятся все богаче. Юность богинь вечно в расцвете. Боги и богини мягки, любопытны и изменчивы. Их уста улыбаются всему, что благоухает, звучит и сверкает. Кадельницы задумчиво кадят. От тишины этого уголка воздух кажется серебряным. В складках бледно-голубых и серебряных знамен между колоннами грезят тихие победы. Это победы Минервы. Это ее зал.

Проперция сказала:

-- Минерва там, наверху, герцогиня -- вы.

Все посмотрели наверх; никто не противоречил. Якобус пояснил:

-- Минерва, герцогиня, это та женщина, которую я хотел написать, когда делал ваш портрет в отеле в Риме. Вы были похожи на нее тогда только в прекрасные мгновения, и даже теперь вы еще не догнали ее. Но Проперция видит уже теперь, что Минерва -- ваш будущий портрет.

-- Я тоже вижу это, -- подтвердил Долан, склоняя голову к плечу. -- Герцогиня, вы догоните богиню.

-- Я надеюсь, что она подождет меня, -- сказала герцогиня.

Когда она повернула спину, Зибелинд сделал страдальческую гримасу и пробормотал:

-- Эта богиня наверху -- безбожно прекрасна, этого никто не чувствует так сильно, как я. Но, благодарение богу, у людей никогда не бывают такие серебристые плечи, и волосы никогда не рассыпаются по ним такими красно-золотыми хлопьями. За эти сорочки из паутины и эти расплывающиеся от мягкости шелка не скользнут человеческие пальцы. Человеческая чувственность не может быть такой смягченной, счастливой и лишенной похотливости. Да это и было бы прямо-таки возмутительно.

Он оборвал. Клеллия Долан недоверчиво посмотрела на него и отошла в сторону. Сан-Бакко подошел на шаг ближе и спросил воинственно и свысока:

-- Скажите-ка, любезный, зачем собственно вы говорите такие вещи?

Зибелинд вздрогнул; он придал своему лицу мужественное и шутливое выражение.

-- Я? Надо же о чем-нибудь говорить...

* * *

Общество разделилось. Сан-Бакко и Долан исчезли в кругу знакомых. Клелия и Мортель пошли дальше, к третьему залу. Проперция сделала шаг за ними, но герцогиня схватила ее за руку.

На пороге жених и невеста столкнулись с высокой белокурой женщиной, которая поздоровалась с ними. Затем она вошла в зал и приблизилась к герцогине. У нее была пышная фигура и спокойные движения, ее низко вырезанное платье блистало вышитыми по нему гирляндами цветов. Здоровый румянец на ее лице пробивался сквозь пудру. От нее исходили редчайшие благоухания, звон и блеск брильянтов и целое облако спокойных вызовов. Оно окутывало мужчин, отнимая у них дыхание.

-- Леди Олимпия! Какой сюрприз! -- воскликнула герцогиня.

-- Не правда ли, дорогая герцогиня, я мила? Я приезжаю из Смирны, потому что вы даете празднество.

-- Но выдержите ли вы ради моих празднеств в Венеции больше четырех недель?

-- Кто знает. В Стокгольме меня ждет один друг. Дорогая герцогиня, я счастлива у вас. Ваши комнаты повышают настроение; здесь чувствуешь, что живешь. Этот зал, герцогиня, идет к вам больше всего, вы поступили умно, избрав его своей резиденцией. Ах! Не все могут перенести звучность, которая разлита здесь в воздухе; она наносит ущерб возбужденным нервам. Вы видите, здесь пусто. Что касается меня, то я остаюсь, потому что люблю вас, моя красавица.

-- Оставайтесь спокойно, леди Олимпия. Вам не вредит ни пустыня, ни Ледовитый океан. Почему бы вам не остаться соблазнительной и в свете моей Минервы?

-- О, я люблю вашу Минерву, и я хотела бы пожать руку художнику, который написал ее.

Герцогиня сказала Якобусу:

-- Леди Олимпия Рэи хочет с вами познакомиться.

Он подошел.

-- Леди Олимпия это Якобус Гальм.

Высокая женщина схватила художника за руку; это производило такое впечатление, как будто она завладела им.

-- Поздравляю вас. Вы должны обладать большим запасом прекрасного, который можете раздаривать. Ваши краски вызывают такую жажду наслаждений. Они пробуждают вожделение, -- также и к тому, кто обещает так много.

-- Вот как, -- пробормотал фон Зибелинд, который незамеченный стоял в стороне. -- Яснее уже нельзя быть.

Он смотрел исподлобья, прищурившись. Отвращение и зависть искажали его лицо. Вдруг он повернулся и отошел. Его больная нога волочилась

сзади, и, чтобы скрыть это от зрителей в обширном гулком зале, он ставил и Другую так, как будто был хром. Издали, навстречу ему, шли три молодых дамы: он жадно оглядел их. Когда они приблизились, он равнодушно отвернулся. Они засмеялись, и он стиснул зубы.

-- Кто обещает так много? -- повторила герцогиня. -- Но, леди Олимпия, он не обещает, он дает. Он наполнил стены и потолки не знающей устали жизнью. Чего вы хотите еще?

Леди Олимпия пояснила со спокойной улыбкой:

-- О, для меня прекрасные произведения -- только обещания.

-- Что же они обещают вам, миледи? -- спросил Якобус с насмешливым ударением; втайне он был так встревожен, что дрожал. Она оглядела его.

-- Мы увидим. Я чувствую искусство очень сильно, мой друг. Я даже эстетка, успокойтесь. Я ношу тяжелые кольца...

Она сняла перчатку и протянула ему пальцы. Он вдохнул запах душистой воды, которой они были вымыты.

-- ...и кучу брелоков на веере, -- dokonчила она. -- Я люблю фантастически затканые цветами шелковые платья и чувствую себя в состоянии взойти на пароход-омнибус на Большом канале с веткой лилии в руке. Я очень люблю картины, и они приобретают для меня жизнь, -- как только мужчина приведет меня в соответственное настроение. Это неперменное условие, мой друг. Я не понимаю искусства без любви.

Якобус опустил глаза и пожалел об этом. Проперция Понти не дала ему ответить.

-- А я, -- сказала она медленно и громко, не выходя из своей глубокой задумчивости, -- я всегда творила искусство, я думаю, потому, что не ждала ничего от любви, -- из презрения, пожалуй, даже из враждебности.

Герцогиня заметила:

-- А я люблю картины, потому что они делают меня счастливой. Я с картинами одна. Я знаю только их, они -- только меня.

-- Потому что вы Паллада.

Леди Олимпия улыбнулась с сознанием своего превосходства.

-- Впрочем, вы еще обратитесь. Вы, синьора Проперция, уже обратились. В соседнем зале красуется рельеф жены Потифара, стаскивающей плащ со своего юноши...

Герцогиня подумала:

"А несколькими шагами дальше стоит женщина, очень похожая на жену Потифара, и вонзает кинжал в свою могучую, обезумевшую от любви грудь".

-- Вы были очень целомудренны, синьора Проперция, -- закончила леди Олимпия. -- Теперь же вы творите искусство, потому что любите.

-- Потому что я несчастна, -- сказала Проперция.

Счастливая женщина взяла руку Проперции.

-- Придите в себя. Простите мне, я говорю с вами о ваших тайнах. Моя ли это вина? Еще нет двенадцати часов, как я в Венеции, и я уже знаю вашу историю, синьора Проперция.

-- Моя страсть брызжет точно из котла, который слишком долго нагревали, и так как капли ее падают всюду, каждый вправе сказать мне, что вытер их своим платьем.

Три женщины сидели на серебристо-серых кожаных подушках мраморной скамьи, прислоненной к бассейну. В головах у них беззвучно играла на скрипке муза, с тихим ликованием носились амуры. Падающая струя журчала, зовя прислушиваться и чувствовать. Якобус стоял перед женщинами, заложив руки за спину, и с деланным равнодушием смотрел на потолок.

-- Почему вы несчастны? -- спросила леди Олимпия, любовно склоняясь к плечу Проперции. -- Потому что вы любите мужчину? Нет, моя бедняжка, потому, что вы любите только одного мужчину. Разве вы не были бы так же несчастны, если бы ваш резец должен был работать всегда над одним куском камня? Насколько непостояннее камня мужчины и насколько более хрупки! Мы, уже из одной любви к людям, не должны были бы никогда оставлять при себе мужчину дольше, чем, например, рассматриваем картину. Мужчины -- красивые насекомые с яркими крыльями и еще некоторыми приятными свойствами. Они должны только слегка прикасаться к цветку, -- я хочу сказать, к нам, -- потому что много они не переносят, и во всяком случае никогда не знаешь, переживут ли они день.

Герцогиня откинулась назад и глубоко перевела дыхание.

-- Что касается меня, то я охотно живу среди сильных. Мне доставляет удовлетворение знать, что они будут стоять здесь, когда я исчезну. Поэтому я тяготею к художественным произведениям.

-- Художественные произведения, -- возразила леди Олимпия, -- имеют самое большее -- яркую пыльцу на крыльях, но им недостает других приятных качеств, которыми я дорожу.

Якобус начал ходить взад и вперед перед женщинами. Проходя, он каждый раз усиленно смотрел мимо высокой блондинки; но ее слова, к которым он старался отнестись с презрением, волновали его кровь и пугали его. Вдруг он остановился, посмотрел в упор на леди Олимпию и сказал:

-- Миледи, очевидно, у вас слабость к чахоточным.

Этим его энергия была исчерпана, и он покраснел. Она пояснила, пожимая плечами, без насмешки:

-- Я говорю просто на основании опыта, который обновляю, от Триполи до Архангельска. Может быть, это зависит от меня, но еще ни один мужчина не сравнялся со мной. При этом я по возможности избегаю серьезно повредить кому-нибудь -- именно потому, что люблю людей. По этой причине я, как вы знаете, не остаюсь ни в одном месте больше месяца. Синьора Проперция, заметьте себе это: только так можно жить счастливо.

Проперция, не понимая, медленно подняла свои темные глаза. Но Якобус оправился. Он расхохотался, как уличный мальчишка.

-- Мы не поймем друг друга, миледи, -- воскликнул он. -- Я люблю долгую службу и длительное вознаграждение.

Он подбодрял себя близостью герцогини.

-- Создавать гигантские творения по слову одной единственной женщины. Всю жизнь следовать за ней к каждой полосе воды и к каждому куску зеркала и ловить каждое ее отображение.

Он оборвал, заметив, что становится слишком серьезным. Говорить этой блондинке, состоявшей только из тела, что-нибудь прочувствованное, было профанацией.

-- Я обещал Мортеллю танцевать кадрили визави с ним и Клелией, -- сказал он.

Леди Олимпия снисходительно улыбнулась.

-- Мортель и не думает танцевать.

Он больше не обращал на нее внимания.

-- Здесь стало душно, -- заметил он, низко поклонился и вышел.

Леди Олимпия спокойно объявила:

-- Здесь удивительно свежо.

Она выпрямилась, протянула руку за мраморную спинку скамьи и подставила ее под капающую из переполненного бассейна воду. На этой руке не было никаких драгоценностей, она сверкала наготой в сознании своей власти. Падающие капли украшали ее влажным блеском.

* * *

Бальная музыка весело кружилась у ног трех женщин. Мимо, со сверкающими глазами, прошли несколько пар, искавших в звуках наслаждения. Когда зал опять опустел, леди Олимпия сказала зевая:

-- Этот Якобус удивительно легко краснеет. А между тем он, несомненно, один из тех мужчин, которые не церемонятся с нами.

Герцогиня ответила:

-- О, его цинизм поверхностный. Он научился ему. В глубине души, я думаю, он мягок, хотя и вел жизнь человека, не останавливающегося ни перед чем.

-- Уже? Он очень молод.

-- Он худощав, как мальчик, и волосы у него тоже мягкие, как у мальчика, на его подвижном лице отражаются все переживания, и не запечатлевается ни одно. Тем не менее, ему лет тридцать пять, и он пережил немало.

-- Какого он происхождения?

-- Не знаю. Он у себя дома везде в Европе, где существует артистическая богема. Когда я в Риме стащила его с пятого этажа, он уже жил тогда в Piano mobile. Он долго поднимался и опускался с женщинами и, я думаю, через женщин, В двадцать лет он имел счастье понравиться Сбригати.

-- Лоне Сбригати?

-- Она была тогда еще неизвестной маленькой актрисой. Якобус не зарабатывал ничего и жил на ее счет. В критический момент, или когда она ему больше не была нужна, он грубо бросил ее. Говорят, что только с того времени ее голос приобрел трагический тембр.

Проперция Понти опустила голову и закрыла глаза рукой.

-- Эта черта не восстанавливает вас против вашего друга? -- спросила леди Олимпия. -- Дорогая герцогиня, я восхищаюсь вами.

Герцогиня изумленно посмотрела на нее.

-- Почему же? Ведь его творения хотят жить -- как может он считаться с страданиями других? Впрочем, его любовные приключения не отняли у него душевной невинности.

-- Ах, вы, знаток душ!

-- О, нет! Я никогда не спрашиваю, что творится в чужой душе; я слишком боюсь неопрятных ответов. Я гораздо охотнее довольствуюсь переодеванием, поверхностной игрой, и не оспариваю красоты у всех душ, ловко наложивших на себя покровы. Та красота, в которую мы можем без разочарования вглядываться до самой глубины, принадлежит только произведениям искусства и редким людям, совершенным, как они.

-- А Якобус?

-- Если бы у него самого не была глубоко невинная душа, как мог бы он нарисовать все это?

И она обвела зал взглядом, полным ненарушимого доверия.

Леди Олимпия осведомилась:

-- Откуда же вы знаете его старые истории?

-- Он рассказал мне их.

-- Он... И это не заставляет вас задумываться?

Герцогиня улыбнулась.

-- Он краснел и при этом.

-- Дорогая герцогиня, вы невинны до ужаса.

-- Синьора Проперция, -- мягко и с болью сказала герцогиня, -- приободритесь.

Она приподняла ей голову. Леди Олимпия высказала предположение:

-- Вы объявите невинным и того, герцогиня, кто сделал это?

-- Нет, Проперция, вы должны поставить это ему в счет и любить его меньше! -- сказала герцогиня. -- Он своей жестокостью не защищает никаких творений. Наоборот, он разрушает ваши, Проперция. Вы должны были бы презирать его, как безрассудного преступника.

-- Я хотела бы ненавидеть его, -- сказала Проперция, -- за то, что он такой утонченный и искусственный... Но ведь за это я и люблю его, -- уныло пробормотала она. Она выпрямилась:

-- Я ненавижу только грациозное, вкрадчивое создание, которое хочет выйти за него замуж... не потому, что она отнимает его у меня -- он и так потерян для меня, -- но я чувствую, что она будет его обманывать.

-- Удивительно! -- воскликнула леди Олимпия. -- Я чувствую то же самое! Но во всяком случае еще прежде дочери его обманывает отец. Этот маленький, скользкий старичок обманывал каждого, кто попадал ему в лапы. Он не преминет показать свое искусство и зятю. Что касается меня, то в моем лондонском доме стоит Гермес, который, по отзыву знатоков, исследовавших его в палладо Долан, прежде, чем я купила его, был настоящий. Странная вещь: впоследствии один из этих антиквариев уверял меня, что мой Гермес очень недурная копия; настоящий же все еще находится на Большом канале.

Герцогиня сказала:

-- Я не купила ни одного бюста, хотя мне предлагали их. Но весь дворец чуть не сделался моей собственностью.

-- Вы ошибаетесь, -- объявила леди Олимпия. -- Он скорее сгорел бы на глазах у вас. Никогда старый колдун не позволил бы вам вступить в него.

-- После всего, что я узнала с тех пор, я почти готова поверить этому. Я с удовольствием вспоминаю свое первое посещение. Седовласый камердинер, не знавший меня, водил меня по залам, таинственно, тихо и немного смущенно. Он отдергивал покровы с больших картин почти пристыженно, как будто позволял мне подсматривать в замочную скважину за своими господами. Он говорил о статуях, как будто они слышали его, со слабым румянцем. Деревянное изображение дожа из дома Долан и гигантский фонарь на его галерее, две или три дюжины портретов кардинала из фамилии Долан, стеклянные ящики со шляпами, клобуками, мантиями, сутанами, красными чулками князя церкви и его вставленные в раму рукописи приводили седого слугу в восхищение и огорчали его. -- Какие великие воспоминания! -- тихо восклицал он. -- И этим должен жить такой знаменитый дом! Больше у него ничего нет!

-- Он так часто повторял это, -- заметила леди Олимпия, -- что, наверно, уж давно сам верит в это.

Герцогиня продолжала:

-- Впоследствии я часто навещала старика и почти полюбила его -- именно потому, что воображала, будто он играет по вдохновению в честь меня. К сожалению, теперь я знаю, что он разыгрывает свою роль перед всеми. От анфилады каменных зал, по которым он водил меня, отделялся ряд маленьких покоев. На самом конце его стоял прекрасный женский бюст, изображавший римлянку. Его обнимала молодая девушка в светлом платье. Она прижималась к пьедесталу; в руках у нее была книга в пергаментном переплете. Эта неожиданная прелестная картина была точно завершением длинной и холодной перспективы.

-- Клелия всегда устраивает живые картины. Я думаю, она делает это бессознательно.

-- Я с удовольствием смотрю на них. Тогда я очень обрадовалась этому милому явлению. Когда я подошла ближе, слуга шепнул за моей спиной: "Бедная молодая госпожа, она кормит отца. Иногда, когда какая-нибудь богатая дама хочет купить ту или иную вещь, наша синьорина Клелия отдает ее, хотя отец убил бы ее, если бы узнал об этом. Но чем здесь жили бы иначе? Да, и этот бюст наша синьорина отдаст, если кто-нибудь сумеет оценить его по его полной стоимости". Молодая девушка прошептала, не оборачиваясь: "Мою милую Фаустину? О, нет".

Герцогиня оборвала:

-- Синьора Проперция, что с вами?

Из широко раскрытых глаз Проперции текли две крупные слезы. Они медленно и дрожа, точно от страха, выступали из своих темных врат. Плачущая молила:

-- Не мучьте меня так. Эта Фаустина принадлежала мне. Ее выкопали у меня на глазах; я очень любила ее и думала, что никогда не расстанусь с

ней. Потом я подарила ее господину де Мортейль, потому что он однажды осмотрел ее со всех сторон и нашел, что она хорошо сделана.

-- Хорошо сделана! -- воскликнула герцогиня. -- Античная голова -- хорошо сделана? Кто же видел руку, вылепившую ее? Разве она не сделалась уже давно мистической? Жизнь статуй под конец перестает зависеть от нас, людей. Они имеют свои поколения и своих предков, подобно нам, и каждая из них -- индивидуальнее, свободнее и бессмертнее нас.

-- Я не знаю, -- сказала Проперция. -- Таково было его суждение. Я подарила ему Фаустину и попросила его так любить ее, как он не может любить меня. Когда он стал женихом, он подарил ее графу Долан.

Герцогиня обвила рукой ее шею и сказала, заглядывая в ее влажные глаза:

-- Утешьтесь, моя милая Проперция. В вашей истории отвергнутая -- не вы. Если бы Фаустина доверила господину де Мортейль, кто она, -- он не расставался бы с нею до своего последнего издыхания. Но ему не было дано почувствовать что-нибудь при виде ее. Она не нашла его достойным. Она прошла мимо него, он не мог удержать ее, бедный слепец. Пожалейте его!

-- Пожалейте всю компанию! -- потребовала леди Олимпия, красная от негодования.

-- Эта девушка! Ни одна молодая англичанка не была бы способна на такую низость. Она делает вид, что обманывает отца. Он стар и слаб зрением, сказал вам седовласый мошенник-слуга; он не замечает, что в его залах настоящие предметы заменены подделками. Контессина просит только четыре недели отсрочки, чтобы заказать копии.

-- Да, эти слова он бормотал за моей спиной.

-- А через четыре недели вам дали бы уже давно существовавший фальшивый экземпляр, а заплатили бы вы за настоящий. Граф занимается этим делом уже давно и с помощью остроумно придуманной истории дочери, из любви обманывающей отца, добывается самых высших цен. Он старьевщик, торгующий костями и волосами своих предков.

-- Но он делает это со страстью, -- сказала герцогиня. -- Это я ясно чувствую каждый раз, как мне приходится иметь с ним дело. Ах, передо мной могут разыграть комедию, но никому не удастся разыграть перед моими глазами любовь к произведениям искусства! Долан любит произведения искусства и реликвии, которыми торгует, любит их мрачной, желчной, капризной любовью, как свою дочь. Ведь он поставил условием ее будущему мужу жить с Клелией во дворце на Большом канале и никогда не увозить дочери в путешествие без позволения отца! По отношению к своим сокровищам он так же ревнив. Часто его охватывает желание зажечь их прелестями пламя вожделения в глазах других. Он хочет, чтобы эти другие приценивались к ним, мечтали о них и мечтали о том, как бы украсть их. Но он просто не в силах в самом деле расстаться с ними. Они не отпускают его. Он должен подделывать их. Я чувствую это.

Леди Олимпия решительно заявила:

-- Он обманщик.

Обе женщины вдруг заметили, что были одни. Проперция уже стояла на пороге третьего зала.

Входное отверстие было широко, и под чарами нагих, сплетающихся и упоенных тел, хоровод которых окружал его, люди, посещавшие этот зал, помогались любви, улыбками давали обещания и, погрузившись в наслаждение тайного трепета, молчали дрожа, или возбужденно смеялись. Мортель стоял перед своей невестой, о чем-то беседуя с нею; она, томная и миловидная, прислонилась головой к стенному зеркалу, обрамленному нарисованными гирляндами. Сверкающие птицы, летавшие по стеклу, носились вокруг отражения светлых, мягких волос Клелии.

Мортель встретился взглядом с глазами Проперции. Он смутился, пожал плечами и отвернулся. Но сейчас же, торопливо извинившись, подошел к ней. Когда его невеста изумленно подняла голову, перед ней очутился Якобус Гальм, бродивший тут же. Он подвел молодую девушку к роскошной вычурной, нарядной кушетке, сделанной из золота и пурпура. Она была слишком широка для сиденья, на ней приходилось лежать. Над ними на стене могучая вакханка отдавалась неистовству необузданной страсти.

Проперция остановилась с Мортелем у отделанного мрамором выхода на террасу. Она сказала:

-- Вы пришли, Морис, вы последовали за мною только потому, что этого потребовал мой взгляд. Значит, вы еще думаете обо мне! Не отрицайте же этого, вы тоже страдаете.

-- Да это и понятно, -- объявил молодой человек. -- Ведь я больше не любовник великой Проперции.

Он смущенно и насмешливо улыбнулся.

-- Я кажусь себе самому спустившимся с высоты.

-- И только!

-- Клелия не любит меня. Я привык быть любимым.

-- Вы видите это. Порвите с ней!

-- Что вы мне поете! Ах вы, бурная женщина!

Его наглая насмешка взволновала ее.

-- Мы принадлежим друг другу. Порвите с ней.

-- Но, моя милая...

-- Сейчас же! Иначе вы потеряете меня навсегда!

И она тяжелым жестом указала ему на большую статую женщины, вонзающей кинжал себе в грудь. Она высилась перед ними, сияя белизной на фоне затерянной во мраке воды мертвой лагуны. Она отворачивала лицо и закрывала его одной рукой из страха перед другою, которая приносила ей смерть, но Мортель знал, что это была Проперция. Он испугался, его воображение заработало, и в нем вдруг проснулись его худосочные вожделения.

"Что за женщина! -- сказал он себе. -- Быть раздавленным и измученным ею должно быть наслаждением... Ведь у нас имеются такие милые инстинкты... Нет, дружище, голову выше! Но просто потерять ее, не

обладав ею, и без оговорок отдать себя молодой девушке, очень мало умеющей ценить такой подарок, -- это было бы слишком по-мещански, Унесем с собой немножко романтики. Итак, решено!"

-- Проперция, -- вздохнул он, -- как давно уже я принадлежу вам, Я поехал в Петербург, потому что так решили вы, и, годы спустя, вернулся обратно, потому что вам захотелось на родину. Меня видят только в вашей свите, но, хотя все уверены, что мне принадлежит ваша спальня, в действительности я у себя только в вашей передней. Я играю перед самым собою смешную роль, и моя жизнь проходит в страхе, что другие могут это заметить. Ведь, что бы ни думали другие, я никогда не обладал вами.

-- Так должно было быть, Морис. Или, вернее, я думала, что так должно быть. Теперь я спрашиваю: почему?

-- Вам легко спрашивать. Что я мог сделать! Проперции не соблазняют. Ее даже не просят. Вначале я делал это; я казался себе смешным. Вы говорите, что хотите. Вы берете мужчину, которого хотите. Вы -- Проперция Понти.

-- Я не могу отдаться, я не могу требовать. Мне запрещает это скрытая частица меня: старый страх, оставшийся во мне после одного дня моей юности. Нет, я хотела быть побежденной и взятой насильно, подобно самым ничтожным.

-- Я понимаю вас. Я великолепно анализирую ваше существо. Вы -- целомудренная Валькирия! Но если я все-таки не мог -- я хочу сказать, в душевном отношении. Вы для меня слишком могучи, я робею перед вами.

Он думал:

"Она чудовищна. Я восседаю на ее страсти, как обезьянка на слоне. Я необыкновенно гордо посматриваю вокруг и рискую своей шеей в угоду зевакам, завидующим мне".

Но, несмотря на все его шутки, ее страсть побеждала его. Она тяжело и мучительно для нее самой поднималась в ней, потрясая ее и его. Он чувствовал ее душевные объятия, такие крепкие и неотвратимые, как будто ее члены уже обвивались вокруг него. Ему стало страшно за свою гладко накрахмаленную рубашку и за равновесие своей души.

-- Мы жаждем друг друга! -- воскликнула Проперция, приложив руку к груди. Понизив голос, она быстро и горячо заговорила:

-- Будем, наконец, просто любить друг друга. Мы всегда искали друг друга в искусственном саду, как вот этот.

И она указала через террасу на странную площадку, края которой, обнесенные высокой блестящей решеткой, омывала тихая вода.

-- Там лужайка из зеленого влажного камня, деревья, пирамидальные или круглые, вырезаны из разрисованного дерева. В стеклянной темно-зеленой листве сверкают маленькие плоды из кроваво-красной яшмы. Там почки из слоновой кости, а цветы из порфира. Я беру в руки розу -- она вся состоит из крошечных осколков камня. Так обманчиво каждое любовное движение, за которое я хватаюсь в вашем сердце, Морис. Все в нашей любви слишком гладко, холодно, обдуманно, запутано, многосложно: точь-в-точь, как в этом искусственном саду. Неужели нам не суждено найти друг друга там, где

пахнет землей, неужели мы не бросимся, хоть раз в жизни, на траву, где нас обожжет настоящая крапива, а к нашим губам прильнет теплая земляника?

Мортейль осмотрелся, разгоряченный, в смятении и в смутной тревоге, не представляет ли он собой зрелища для любопытных. Но Клелии поблизости не было, а все, кого он видел, были заняты самими собой. Боги на стенах изливали на всех чаши хмеля и вожделения. Во всех жилах kloкотала кровь. Все прислушивались к ее кипению и отдавались упоению и восторгу. Точно откуда-то издали донесся до Мортейля голос Проперции.

-- Иди! Дорви со своей невестой!

Он повернулся и пошел.

Он нашел Клелию на толстых пурпурных подушках вычурной позолоченной кушетки. Она едва касалась ее, точно залетевшая во время грозы птичка, легкая, белая, с бурно бьющимся сердцем. На нее наступал Якобус Гальм: он возбужденно говорил что-то, его красные губы точно подстерегали ее светлую грудь и поминутно впивались в маленькую, слабую ручку, пытавшуюся сопротивляться им. Клелия защищалась веером от нападавшего и ловко не давала ему сломать его. В ее позе, в сущности, не было ничего непозволительного, и ее тело было начеку. Она представляла собою картину под названием: "Минута забвения", но несколько не была увлечена.

Мортейль отнесся к тому, что увидел, совершенно серьезно. Он побледнел и прямо подошел к парочке, пробудив ее от упоения.

-- Ваше поведение, сударыня, обещает многое.

Клелия почти не смутилась.

-- Я не обещаю вам вообще ничего, -- заявила она.

-- С вами, сударь, я поговорю после, -- заметил Мортейль. Якобус сначала опустил голову, потом, опомнившись, поднял ее вверх и, не глядя на Мортейля, не торопясь, побрел дальше.

-- Что вы делаете, Морис? -- тихо спросила молодая девушка. -- Ведь вы нарушаете наш договор; он воспрещает ревность.

-- В нашем договоре не сказано, что вы можете делать меня смешным.

-- Ведь он -- только художник. Разве я сержусь на вас за вашу великую Проперцию?

-- Это -- совсем другое дело. Впрочем, у меня нет оснований ревновать: ведь я, к счастью, не влюблен в вас.

-- Вы хотите оскорбить меня?

-- Я только запрещаю вам отдаваться на глазах у всех своим недисциплинированным инстинктам, пока вы моя невеста.

-- Я могу и перестать быть ею.

-- Это я и хотел сказать.

-- Значит, решено.

И они разошлись в разные стороны.

Мортейль вдруг в смущении увидел себя посреди залы в полном одиночестве. Проперция стояла на террасе, окруженная кольцом болтающих почитателей, которым она должна была объяснить смысл

закалывающейся женщины. Молодой человек нерешительно посмотрел на нее: ее фигура показалась ему топорной.

-- Зачем я прогнал Клелию? -- спросил он себя, сразу отрезвившись. -- Ради этой живой колонны?

Ему стало холодно.

-- Что я наделал? С помощью такого никуда не годного -- театрального аксессуара...

Он посмотрел на белую статую глазами, желтыми от ненависти.

-- ...этой толстой старухе удалось внушить мне страх и желание, -- мне, со всем моим скептицизмом! Не смешон ли я?

Он подозрительно огляделся.

-- О, конечно, меня уже находят смешным!

В это мгновение мимо него лениво, с вызывающей улыбкой, прошла леди Олимпия. Она ударила его веером и сказала:

-- Считайте себя представленным. На сегодняшнюю ночь вы мой возлюбленный.

Он продолжал стоять. Пройдя три шага, она еще раз обернулась и посмотрела на него все с той же спокойной жадой наслаждений в улыбке. Он разом понял положение и последовал за ней, стараясь придать себе спокойный вид. При этом он заметил, что герцогиня смотрит на них. Он догнал леди Олимпию и шепнул у ее уха:

-- Где? Когда?

-- Моя гондола ждет, -- ответила она.

Они исчезли в ряде маленьких покоев, окружавших анфиладу зал.

Герцогиня осталась совершенно одна в зале Минервы. Она хотела насмешливо улыбнуться, но ее губы горестно искривились. Из последнего зала навстречу ей несло точно дыхание чудовищно раскаленной печи. Она с силой прижала обнаженные плечи к мрамору тихой скамьи; он был украшен хороводами прелестных созданий, освежавших и ласкавших ее тело. Она откинула назад голову и открыла рот, вдыхая серебристый воздух богов, торжественно сиявших на потолке. Но она слышала, как пела и бушевала в другом зале тяжелая, темная кровь, затемнявшая разум богов и людей и дававшая им блаженство.

За работой и наслаждением, среди виноградных лоз, в пронизанной солнцем тени, сверкали нагие, пышные тела людей, не знавших ни стыда, ни горя. Полные женщины с сочным телом и раскрасневшимися лицами удовлетворенно прижимались к своим мужьям; эти последние были сильны, желты, как охра, наги и увенчаны виноградными листьями. Девушки, гибкие и мясистые, загорелые, с вином в крови, раздавливали кончиками грудой виноградные кисти в чане. На них со смехом напирал дюжий парень, которому они позволяли брать себя. Вакх, жирный, красный, заикаясь и пошатываясь, с торжеством пробирался сквозь толпу сраженных хмелем тел. Растянувшись на шкурах баранов, с которых еще не были сняты головы, и прикрывшись мехом диких зверей, переполненные виноградным соком и обуреваемые любовным пылом, они,

похотливо ощупывая друг друга и тесно слившись телами, мокрыми губами посылали своему победителю последнее Эвоэ.

Неистовствовали вакханки, омерзительно скалили зубы сатиры. Юноши, с тигровыми шкурами на плече, соблазнительно играли на флейте, а девушки предлагали им кедровые шишки. Какой-то мужчина дрался с кентавром из-за женщины, ехавшей на нем. Смуглый фавн наигрывал детям плясовой мотив. Они похотливо прыгали в такт звукам, в их черных кудрях горели венки из мака, на полу пылали лопнувшие гранаты. Голуби истекали кровью рядом с розами. Перед полными ожидания девственницами снимались покровы с Герм. Красный воздух волновался от пламенных тайн, -- но среди тех, кто вкушал, его, ни один не задавал вопросов. Они не гнались за снами, как поклонники свободы и величия в зале Дианы, не чествовали красоту, как в зале Минервы жрецы искусства. Они были во власти своей плоти и наслаждались телом. Задыхаясь в изнурительном желании, не глядя ни на что и не зная ничего, кроме биения своей крови, служили они богине, которой были отданы навсегда, отсутствующей богине, изображения которой не было видно нигде: ни на потолке, ни на стенах, ни в середине пола. Но герцогиня видела, как она спускалась, неумолимая, ненасытная и победоносная. Это была Венера. Ей принадлежал тот зал.

* * *

Гости тесной толпой поднимались вверх по лестнице. Они шли из галереи, из буфета и были разгорячены и шумны. Герцогиня встала. Зал наполнился, она была со всех сторон окружена незнакомыми людьми. В это мгновение чей-то гнусавый голос произнес тоном командующего офицера:

-- Прошу пропустить герцогиню Асси!

И господин Готфрид фон Зибелинд взял на себя обязанность ее кавалера. На ходу он говорил:

-- Герцогиня, вы отдали нас здесь под защиту богинь, а не все они добры. Посмотрите, каких бед натворила вот та жестокая богиня. Проперция, наша несравненная художница, стоит на страже перед дверью террасы, одинокая, брошенная и совершенно окаменевшая. Кинжал уже сидит у нее в груди так же глубоко, как у ее безвкусной статуи. Юная Клелия тоже представляет печальную картину, но -- только картину. Она и не претендует на трагизм. После сцены с женихом она несколько не утратила душевного спокойствия. Но эту сцену заметили, вокруг нее стали шептаться. Тогда она, печальная и хрупкая, подошла к благородной вазе, украшенной плачущими фигурами. Она оперлась локтем одной из своих безупречно сформированных рук о цоколь и с сдержанной скорбью закрыла лицо ладонью. Ее окружили подруги. Она предоставила себя всеобщему восхищению в качестве печальной нимфы, в кругу растроганных подруг, подле переливающейся через край чаши со слезами.

-- Господин фон Зибелинд, -- сказала герцогиня, -- вы злостный, но тонкий наблюдатель. Только что, когда вы подошли ко мне, я была почти

испугана происшествиями, о которых вы говорите. Вы хотите этими же происшествиями позабавить меня. Я согласна.

-- Итак, Клелия играет несчастливо, -- продолжал он. -- Якобус не обращает на нее ни малейшего внимания. Он бесцельно бродит кругом в поисках леди Олимпии. Какой-нибудь услужливый ближний просветит его относительно того факта, что она покинула праздник с господином де Мортель; услыша это, он побледнеет. "Она видела меня с Клелией, -- скажет он себе. -- Я показал ей, как я домогаюсь, когда жажду обладать. Уж не ответ ли это?"

-- Великолепно! -- воскликнула герцогиня.

-- И это считают любовными драмами! -- неуверенно, хриплым голосом сказал он. Его карие с красными жилками глаза нетвердо, исподлобья глянули на нее. Он с шумом волочил за собой ногу, лоб его покрылся потом, а желтоватые точки на шероховатой коже выступили так отчетливо, как будто лежали сверху. Герцогиня вдруг поняла:

-- Нет! Он не безобидный балагур!

И ей стало еще больше не по себе, чем до встречи с ним. Она уклончиво заметила:

-- Несомненно, здесь происходит несколько любовных драм. Клелия очень симпатичная героиня.

-- Она так воздушна, эта малютка, вы не находите? Ее головка так прячется под большими, мягкими белокурыми волнами, что едва замечаешь, как определены и закончены уже ее черты. Мы еще окружаем ее в наших мечтах девичьим очарованием -- сама она очень не любит мечтать -- и сквозь золотую пыль, которой мы собственноручно осыпаем ее, мы еще не различаем лица старого ростовщика с его жестоким, оценивающим взглядом и хитрыми морщинами. Но, герцогиня, поверьте мне: она -- истая дочь лицемерного, безжалостного торгаша Долана. Наклонность к захвату, присвоению и извлечению пользы, которую он проявляет на старом хламе, унаследовала и она. Но она будет завладевать людьми!

-- Откуда вы знаете?..

-- Она, точно играя, обвивается вокруг Якобуса и опутывает его. Он еще почти не замечает этого. Здесь, под волнующим убором этих зал, где великое искусство вышло на свет из Якобуса, как лавровые ветви из пальцев Дафны, здесь она хочет поймать его. Для нее это -- арифметическая задача. И, одновременно с великим художником, она хочет похитить возлюбленного у великой художницы и выходит замуж за Мортеля. Говорят, помолвка расстроилась. Успокойтесь, она будет заключена снова. Это вторая задача Клелии. Но мы воображаем, что все это любовные драмы!

-- Вы правы, пока говорите. Но если бы мы вздумали у каждой молодой девушки срезать ее пышные косы и стереть капельку золотой пыли с ее бедного существа, -- сознайтесь, по крайней мере, что это было бы печально.

-- Это было бы честно, как всякое разоблачение обмана. Красота безнравственна, -- сварливо и сокрушенно объявил он.

-- Прошу прощения! -- прогнусавил он сейчас же тоном кавалериста. -- Ведь и я не из дерева. Несомненно, -- такая очаровательная плутовка!.. Когда я был еще молод и хорош собой...

Она оглядела его, точно видя в первый раз это пугало, попеременно хныкавшее и гнусившее, этого галантного и плаксивого, странно изменчивого и неприятно глубокого иностранца. Он был накрахмален, приглажен, на помажен и одет по последней моде. Но первый встречный мог заставить его опустить голову, поднести руку ко лбу и свернуть с дороги. Вызывающий и, точно связанный, ковылял он по залу, -- образцово одетый манекен, раздраженный тем, что другие могли свободно распоряжаться своими мышцами, а он -- нет.

Они проходили через узкие двери, которые там и сям открывала перед ними толпа, и шли все дальше: через зал Дианы, вниз по лестнице и в галерею и обратно до порога зала Венеры. Здесь они повернули опять. Зибелинд сказал, окинув затуманенным взглядом богов любви и их любимцев:

-- Да, да, это мы считаем любовными драмами!

"Какое болезненное упорство!" -- подумала герцогиня.

-- Полтора года тому назад, в октябре, -- продолжал Зибелинд, -- в Риме ужасной смертью умерла бедная женщина, которая много любила. Вы знали ее, герцогиня, это -- графиня Бла. Есть мужчины, рожденные с душой, полной нежности, и принужденные заглушать свою тоску в невидимых слезах. Если бы женщины подозревали, какие сокровища чувства скрыты в душе такого нелюбимого, -- они... прошли бы мимо него. Бедняжка Бла принесла себя в жертву одному счастливому господину, которого это нисколько не трогало, и который с такой же беззаботностью бросал на зеленый стол любовь женщин, как и карманные деньги, которыми они его снабжали. В тот же день, -- заметьте себе это, герцогиня, -- у князя Торлонна был большой раут, и синьорина Клелия Долан стала невестой де Мартейля. На тот серый, усеянный острыми камнями путь, который только что со вздохом покинула Бла, в тот же час вступила Проперция Понти. Судьбы сменяют одна другую с зловещей точностью, смыкаясь в тяжелую цепь; она обвивает нас все теснее, и, в конце концов, мы запутываемся в ней один за другим. У вас, герцогиня, есть еще время: вы были Дианой, теперь вы -- Паллада. Третий зал лежит еще в смутных грезах и ждет вас: Венера еще отсутствует.

-- Что вы говорите? Откуда вы знаете? -- пробормотала герцогиня, борясь с непонятным ужасом. Не владея собой, она спросила:

-- Кто вы?

-- Я? О, я... -- произнес Зибелинд, внутренне весь съеживаясь от стыда и мучительного стремления показаться интересным.

-- Я не иду в счет, -- вздохнул он. -- Перед нами Клелия; она властолюбива и больше ничего. Рядом с ней Проперция; она простодушно страстна и не знает стыда. Молодой человек повинуетя различным побуждениям: то

Проперция играет на его тщеславии и жажде известности, то Клелия на его практическом смысле и его снобизме. Он будет до тех пор метаться между знаменитой женщиной и очаровательной девушкой, пока все трое не станут необыкновенно несчастны. Никто не будет знать -- почему, и все вообразят, что это -- любовная драма. Но это -- только публичная церемония, как распределение орденов или похороны. Драмы, герцогиня, разыгрываются за закрытыми дверями, в груди нелюбимых. Ах! Красться мимо зал, где клокочет кровь, красться, застыв от презрения и с безумной надеждой в сердце, что какая-нибудь сочувствующая рука даст тебе знак, и при этом - с твердым решением сурово отвергнуть эту невозможную руку. Ненавидеть беззаботных счастливых, въедаться в их, безмятежные души - и знать, что и тебе хотелось бы только быть таким же, как они, и стыдиться своих инстинктов, и гордиться своим стыдом, и быть изнуренным бесплодными желаниями, и измученным завистью, и размягченным высокомерным сожалением к самому себе. Ужасающее дыхание таких драм никогда не обвевало их, этих шумных господ, чувства которых пляшут в бальном зале!

Герцогиню охватило негодование и отвращение. Она спросила свысока: -- Чем я внушила вам мужество для таких интимных признаний?

Он ответил с страдальческим упорством:

-- Я должен говорить все это. И мой голос должен быть услышан именно здесь, среди всей этой живописи и танцев, среди этой безмятежно наслаждающейся толпы.

Она молчала, думая:

"Зачем, собственно, я брожу уже полчаса по всему дому с этим калекой?"

Его общество вдруг стало ей невыносимым. Она оглянулась, ища помощи, но в движущейся толпе, которую они раздвигали и которая смыкалась за ними, мелькали только незнакомые лица. Ей казалось, что эта толпа безнадежно заперла ее с ее жутким спутником.

"Никто не прерывает его отвратительных речей, потому что все видят, как я прислушиваюсь к ним. Разве я могу иначе? Он насилует мое внимание, этот изгнанник третьего зала. Когда он ковыляет подле меня, я точно слышу все наводящие страх голоса оттуда, безумные слова, лепет и дикий смех. Они доносятся ко мне через рупор его изможденной груди, искаженные, омраченные и гнетущие, как воздух в комнате больного. Слабое биение сердца этого жалкого человека для моего слуха проводник клокочущего пульса всей той разнузданной крови".

-- Кто вы? -- опять спросила она, почти против воли.

-- Ваша светлость изволили забыть? Готфрид фон Зибелинд, бывший гусар. К сожалению, только бывший. Несчастный случай с лошадьми, прерванная преждевременно карьера...

Перед ней был один из членов ее разнокалиберного общества, беседовавший с ней о пустяках.

-- Я знаю, -- со смехом сказала она. -- Вы оказали мне при устройстве этого дома услуги, за которые я вам очень благодарна. Вы любите в разговоре внушать вашему партнеру очень невыгодное мнение о вашей

особе. Вы хотите во что бы то ни стало быть иным, чем другие. Поэтому у меня есть основание спрашивать, кто вы. Итак, со времени несчастного случая с лошадьми...

-- С того времени я управляю нашим фамильным поместьем.

-- Где же оно находится?

-- В Вестфалии. Там я живу исключительно среди мужиков. Вы можете себе представить, каково у меня бывает на душе?

-- Фамилия фон Зибелинд... Я не могу вспомнить, где я слышала о ней.

-- Фамилия фон Зибелинд звучит великолепно. К сожалению, это -- только *façon de parler*. Существую только я.

-- Все остальные умерли?

-- В этом не было нужды. Они никогда и не жили. Мой отец -- я открываю вашей светлости частицу немецкой истории -- был своего рода Август Сильный, владетельный князь одного из крохотных немецких государств. При помощи дочери придворного аптекаря он произвел меня на свет. Я, так сказать, дитя любви, следовательно -- прекрасен и рожден для счастья, хотя теперь этого и не видно.

Он рассказывал это сдержанно и с важностью, исподлобья поглядывая на нее. Она сказала, отвернувшись:

-- Я не могу слышать, когда кто-нибудь издевается над самим собой. Мне становится стыдно и тяжело.

-- Ах! Я думал, что это доставляет удовольствие другим... Но, конечно, не герцогине Асси...

Они, находились наверху, на хорах, окружавших галерею. Они стояли, прислонившись к перилам; вдруг она заметила на его фраке что-то блестящее.

-- У вас орден? Белый крест на синем поле?

-- Медаль общества охранения нравственности. Знак союза для борьбы с безнравственностью.

-- То есть с любовью?

Он глупо сознался:

-- Да.

-- Но раз вы принадлежите к... нелюбимым...

-- Я принимаю свою участь. Я искренен.

-- Это надо ценить высоко, в особенности потому, что это вам трудно дается. Сознаться, кто нравится вам больше, Клелия или Проперция? Я готова думать, что вы любите обеих.

-- Всех трех, -- объявил он.

Прежде, чем она могла помешать этому, он схватил ее руку и прижался к ней губами. Они были неприятно горячи.

И вдруг он исчез. Через минуту она уже видела его внизу, в галерее. Он, пересиливая себя, не сгибаясь, ковылял к группе дам. Перед самой целью он свернул, равнодушно глядя в сторону, под насмешливо направленными на него лорнетами.

-- Почему он убежал? -- спросила себя герцогиня. Но сейчас же поняла причину: к ней подходил Сан-Бакко. Он шел, окруженный роем молодых девушек, которые цеплялись за него, окутывали его легким облаком своих кружев, цветов и волос и доверчиво смеялись ему в лицо, обдавая его своим свежим дыханием. Они любили его, так как чувствовали, что взгляд восхищения, которым он окидывал их, был лишен сомнений, и что старый рыцарь питал недоступное никакому разочарованию обожание к каждому существу с звонким голосом, в уборе длинных кос, в сиянии невинных глаз и в прелести узких плеч. Они заставляли его рассказывать о походах и вознаграждали его своим нежным щебетаньем, протянутой ему белой перчаткой, на внутренней стороне которой он должен был нацарапать свое имя, и котильонными орденами.

Он принялся горячо уверять герцогиню, что ее празднество чудесно удалось.

-- В ваших залах, герцогиня, женщины прекраснее, чем где-либо, и они делают ваши залы более прекрасными. Здесь все -- великолепие, благородство и радость от того, что другие могут созерцать прекрасное зрелище. А я сейчас из парламента, где убогие сердца пропитаны злобой. Я не вернусь туда! У вас дышите полной грудью! От канала до лагуны по вашему дому носится весенний ветерок и уносит прочь всякое испорченное дыхание.

Подошел взволнованный Якобус и сказал:

-- Они опять здесь. Можете вы это себе представить?

-- Кто?

-- Леди Олимпия и Мортель. Они совершили прогулку в лодке, кажется, обильную наслаждениями, теперь они хотят танцевать. Проперции разрешается смотреть, рука об руку с Клелией. Я нахожу, что они заходят немного далеко.

-- Проперция тоже будет танцевать, я приглашу ее! -- воскликнул Сан-Бакко, покраснев и разгорячившись, как юноша.

-- Я никогда не потерплю, чтобы великую женщину оскорбляли!

-- Как вы хотите помешать этому, маркиз? Впрочем, ее нигде не видно. Так вот, леди Олимпии нужно визави для кадрили. Я ищу достойного ее, Мортель тоже.

-- Негодяй! -- проворчал Сан-Бакко. -- Герцогиня, вы должны были бы приказать своему гондольеру отвезти его в отель!

-- А леди Олимпию?

-- Она дама.

-- Идемте, Якобус, -- сказала герцогиня. -- Будем танцевать визави с ними.

Она весело засмеялась, и ее смех, казалось, прогнал все, что еще оставалось в воздухе вокруг нее от нашептываний несостоятельного аскета.

Они пошли. Герцогиня спросила:

-- Леди Олимпия смутила ваше спокойствие, сознайтесь?

-- Что тут сознаваться? -- объявил Якобус. -- Ведь в нас живет зверь, идущий на такие несложные приманки. Ах! Такая женщина знает это! Какое бесстыдство, а сущности! И какой печальный триумф! Я ходил по этим залам с такими чистыми ощущениями, я наслаждался своим собственным цветом, распустившимся на этих стенах, и говорил себе, что цвету в честь вас, герцогиня. И вдруг приходит эта женщина и показывает мне, что обладает властью над зверем во мне. Я не могу отрицать этого, но у меня такое чувство, как будто со мной невежливо обошлись.

-- Значит, из тщеславия... Но вы только затягиваете дело. Ведь вы не думаете серьезно противостоять ей, не правда ли? Так почему же вам не покончить с этим сразу? Теперь это было бы уже позади, и вы совершенно успокоились бы -- как теперь вместо вас Мортейль.

-- Я не мог. Вы, герцогиня, стояли между нами и отравляли мне удовольствие.

-- Мне очень жаль... Уж не любите ли вы меня?

Он испугался и покраснел так сильно, что темное золото его длинной, раздвоенной бородки стало совсем бледным.

-- Нет, нет! Что за вопрос! Чем я...

-- Решительно ничем. Успокойтесь. Тогда вам, значит, ничто не мешает любить леди Олимпию.

-- Наоборот!

Они вошли в зал и приветствовали ожидавших. Леди Олимпия была напудрена хуже, чем прежде. У нее были влажные глаза и сладостно оживленные, счастливые движения. Мортейль был довольно бледен; он отвечал на завистливые и насмешливые взгляды язвительной холодностью. Музыка тотчас же заиграла, и, встречаясь и расходясь с Мортейлем и его дамой, Якобус продолжал разговор с герцогиней. Он громко говорил о леди Олимпии, глядя ей при этом прямо в глаза. Она равнодушно улыбалась. Его жесты становились все более возбужденными.

-- Кто же любит леди Олимпию? -- говорил он. -- Леди Олимпия роскошная картина; я забыл поместить ее в зале Венеры в виде охотницы за любовью, красной, широкой, белокурой, смеющейся влажными губами, с откинутой назад головкой, так что вздувается шея. С ней падаешь в траву и даешь взять себя. Потом уходишь, и некоторое время перед глазами еще стоит блеск ее красного тела. Больше ничего. Она -- картина, а в картинах я знаю толк слишком хорошо. Их я не люблю.

-- Ну, к счастью, я тоже картина. Вы помещаете меня то на потолок зала в качестве Дианы или Минервы, то в парижский салон в качестве Duchesse Pensee. Какое странное название, как оно пришло вам в голову?

-- Та картина -- не вы, герцогиня, это ваша мысль -- мысль той минуты, когда вы остановились в моей мастерской в Риме перед Палладой Ботичелли. Я говорил уже вам, что уловлю вашу душу с той минуты, как только вы исчезнете с моих глаз.

-- Почему вы никогда не показывали мне этой картины? Я хотела бы иметь ее.

-- Она продана... одной немецкой даме.

-- Кто она такая?

-- Дочь одного рейнского промышленника... Я женился на ней.

-- Что вы говорите?

Команда *en avant deux* разлучила их. Леди Олимпия взяла руку Якобуса и покачивалась с ним в середине четырехугольника танцующих. Она сказала:

-- Вы невежливы, мой крошка, но я не сержусь на вас. Вы нравитесь мне, тут ничего не поделаешь. Впрочем, вы скоро будете просить у меня прощения за все это.

-- Слишком скоро! -- возразил Якобус.

В промежутке между двумя фигурами герцогиня повторила:

-- Что вы сказали? Вы женаты?

-- И я горжусь этим, -- заявил он. -- Подумайте, непосредственно после успеха, который мне доставил ваш портрет, я женился на молодой, богатой девушке, которая чуть ли не во всем -- ваша противоположность. Нет, герцогиня, я не люблю вас.

-- Вы все еще не успокоились?

-- Беспокоит меня то, что я вас слишком часто рисую. Вы не простая картина, как леди Олимпия. Ах, с той покончишь одним холстом на вечные времена! Но вы, герцогиня, вы кажетесь мне одной из моих грез. Повторяю, вы тревожите меня всякий раз по-новому. Я никогда не вижу вас в окончательной форме.

Они должны были расстаться.

-- Тем не менее я надеюсь, что вы только картина, -- успел он еще заметить.

-- Я тоже, -- ответила она.

Когда они опять столкнулись, он объявил:

-- Я люблю только там, где мало вижу и где для меня нет искусства. Мое искусство должно быть сильным, строгим, безличным и независимым от мягких чувств. Любовь... рассказать вам, где я любил больше всего?

-- Расскажите.

-- Я рисовал где-то в России охотничьи картины и каждое утро по дороге к павильону, который служил мне мастерской, проходил мимо огороженного куса парка. Хвойные деревья и кусты были плотно охвачены серой стеной, точно большой букет. Темная аллея вела к бассейну, где ежедневно двигалась белая фигура. Я видел только полоску белого лица и легкие движения нежных членов. И каждый раз я долго стоял, охватив пальцами прутья решетки, и вглядывался в суживающуюся перспективу, в поисках за душой парка, как я называл это существо. Она бродила вокруг бассейна, а я чувствовал это так, как будто она тщетно кружила вокруг моей души. Так я больше не любил.

-- Этого вы, значит, не нарисовали?

-- Это было только чувство. Это не было картиной -- как вы, герцогиня.

Они низко поклонились друг другу; танец был окончен. Герцогиня отошла.

-- Ну, что, моя крошка, -- спросила леди Олимпия одиноко стоявшего художника. -- Вы укрощены?

-- В данный момент меньше, чем раньше, -- объявил он. -- Я горячо сожалею.

Она взяла руку Мортелля и опять приказала подать свою гондолу.

Якобус, опустив голову, бродил по залам и размышлял:

-- Зачем я рассказал ей, что женат? При первом ближайшем случае я уверю ее, что это была ошибка и что я разведусь. Она скажет, -- о, я знаю ее, -- что так и следует. Женщина будто бы вредит моему искусству, я принадлежу всецело своему искусству. А так как оно принадлежит ей... Да, я исполню ее желание -- и желание другой тоже, которая так невежливо ловит меня на моем теле в тот момент, когда мне кажется, что я больше всего -- душа, и когда я думаю о душе в парке. Ах! Рука, которую она подала мне в танце! Леди Олимпия чересчур уж гордится властью своего тела, но в известную минуту я все-таки сознаюсь ей, как я нарисовал бы ее руку: в тот момент, когда она гладит темную голову мальчика, который дрожит и задыхается под ее ленивой лаской, или когда она разбрасывает по удушливому ветру растерзанные лепестки темной розы... А где я вижу руку герцогини? На украшенной фигурами выпуклости драгоценной вазы. Она скользит вдоль их профилей. Менада шатается в упоении, нимфа смеется, и отблеск их вечной красоты падает на смертную руку.

* * *

Никто не видел, как Проперция покинула дом Наконец, герцогиня нашла ее в искусственном саду над лагуной. Она стояла, высоко подняв руки и держась ими за высокую, темную, блестящую решетку. Это имело такой вид, будто она напрасно трясла ее и повисла утратившими мужество руками на широких сплетающихся железных ветвях, между синими кедровыми шишками и лилиями с желтыми, неподвижными стеблями, под чарами белого грифа на верхушке.

Герцогиня дотронулась до ее плеча и повела ее обратно через ряд укромных комнаток к другому концу дома. В канале, под мостом и между столбами, окрашенными в черный и синий цвет, стояли гондолы; на каждой была герцогская корона. Они вошли в одну из гондол, и она без шума скользнула по зеркальной глади. Последние праздничные огни гасли в черной воде. Тяжело надвигались темные дворцы; ослепительно сверкали в лунном свете балконы. Вслед им с арок порталов смотрели каменные маски; усталые, истертые ступени спускались к воде. У фасадов над печальными волнами висели покинутые каменные скамьи. Потемневшие мраморные плиты мрачно блестели, а из железных квадратов окон посыпала им привет рука молчания. По обширной белой площади бесшумно скакал медный всадник. Грозь через плечо сверкающим лицом, ужасный и прекрасный, он был великим переживанием этой ночи: она стояла на коленях перед ним.

Дикий лавр, резко блестя, шелестел на выветривающихся стенах, вокруг гербов и каменных изваяний. Перед ними маленькие львы прижимались мордами к лапам. Герцогиня думала:

-- Искусство охраняется силой. Искусство не погибнет никогда.

Но Проперция вдруг выпрямилась. Она сидела в тени; ее лицо казалось бледным, расплывающимся пятном на черном сукне.

-- У меня такое чувство, как будто я уже умерла, -- сказала она. -- Я не могу больше работать. Он убивает меня. И при этом он хочет меня, я знаю это. Но он не берет того, чего хочет, потому что он стыдится природы. Он так искусственен, а я нет. О, если бы у моей любви было отравленное жало, чтобы возбуждать его! Если бы я была бессердечной и сладострастной авантюристкой или своевольной, властолюбивой девушкой, которая не любит его! Но у меня есть только моя простая страсть, и она пожирает себя самое. Я изучала анатомию и знаю, что после смерти желудок часто пожирает самого себя. Такова и моя страсть, потому что он не дает ей никакой другой пищи, -- и у меня такое чувство, как будто я уже умерла.

Герцогиня ничего не ответила, она думала:

"Проперция смешна и величественна. Как она могла так напугать меня? Да, ее горячее дыхание донеслось ко мне из зала Венеры вместе с дыханием других и гнало меня перед собой, испуганную и слабую. Страсть Проперции, Клелии, Якобуса, Мортейля и леди Олимпии окутала меня всю, точно горячий, красный плащ. Каждый раз, как я хотела его сбросить с себя, изуродованная, влажная и дрожащая рука Зибелинда сжимала его крепче. Я была слаба. Зачем я спросила Якобуса, любит ли он меня... Теперь я намекнула бы ему, что пора начать расписывать кабинеты.

Этой Проперции мне уже нечего говорить ничего подобного. Я чувствую, она отошла от всего. Но я перестаю жалеть ее, я катаюсь с ней и с удивлением смотрю на нее. Я слишком много металась между людьми, хитrostями, грезами, низостями. Теперь я отдыхаю и смотрю. Грозное величие Коллеоне или гибнущее Проперции, -- какое зрелище более блестяще? Души так же величавы, как и произведения искусства, и я сама, в конце концов, зрелище для себя. Разве иначе я не погибла бы так же, как и она? Все, что хочет одолеть меня, я побеждаю игрой. Жажда свободы и величия овладела мной: я играла Диану, даже не зная этого. Теперь я Минерва, говорят они. Кто знает, не играю ли я Минерву, потому что борюсь с лихорадкой искусства? Так на своем детском острове я играла сладостные образы старых поэм и прислушивалась к эху голоса Хлои, звавшей Дафниса".

Удары весел гулко раздавались под мостами. Их стройные арки были переброшены через узкую водяную дорожку, и кусты кивали с одного берега на другой. Они кивали через окутанные синевато-зеленой тенью стены садов, лежавших в синевато-зеленом свете, между крутыми, узкими дворцами, залитыми синевато-зеленым сиянием; со своими неподвижными верхушками, на которых не пели птицы, они, казалось, прислушивались к фонтанам, которые не журчали. Издали, из отдаленных каналов, где неведомые гондолы совершали свой темный путь, счастливый или

печальный, донесся голос гондольера. Проперция прислушалась с безумным взглядом. "Там плывут они, -- думала она, -- Морис и женщина, которую он любит сегодня. Они лежат в объятиях друг друга... Лучше бы я видела его мертвым!"

Сады сменились каменными ящиками вышиной с башню, почерневшими от угля и покрытыми плесенью. Высоко наверху были маленькие отверстия вместо окон, двери были без парапета. Вода, в которой отражались их огни, была покрыта блестящим, в пестрых пятнах, маслянистым налетом. В кабаках хрипло кричали пьяницы, и визжали девушки. В шуме прокатился, точно маленькая, влажная жемчужина, звук гитары. Из одного окна высунулась, глядя на звезды, женщина с обнаженной грудью. Проперция сказала:

-- Мы плывем мимо, и никто не трогает нас. Здесь когда-то пьяный, которому одна из женщин открыла свою опочивальню, ступил в пустоту и исчез в этой вязкой воде. Я хотела бы быть этой женщиной и вступить, обнявшись с Морисом, в благословенную опочивальню, где кончается все.

* * *

Внезапно, после нескольких поворотов, они очутились в Большом канале. Герцогиня проводила Проперцию в ее отель и поехала домой. Празднество кончилось, дворец стоял точно обугленный, черный, с несколькими блестками света. Герцогиня прошла по гулким залам; впереди с канделябрами шли слуги. Огромные тени падали с картин на потолках, покрывая друг друга. Вспыхнула какая-то мраморная фигура; серебряный край бассейна с мягким блеском окружал плескавшуюся воду, пляшущих амуров, играющую музу.

В последнем кабинете с широко открытыми на лагуну окнами у карточного стола сидели за вином последние гости: леди Олимпия, Якобус, Зибелинд, Сан-Бакко и Мортель. Мужчины поднялись, Сан-Бакко воскликнул:

-- Герцогиня, вы напугали нас своим исчезновением.

-- Герцогиня, где вы были? -- спросил Мортель.

Он держался неестественно прямо, глаза у него были красные и то и дело закрывались. Леди Олимпия опять откинулась в кресло; ее движения были мягки, в них чувствовалась удовлетворенность.

-- Вы опять вернулись, миледи? -- сказала герцогиня. -- Я уже прокатилась под лунным светом.

Она подумала о синевато-зеленых стенах со львами, окруженными шелестящим лавром, и улыбнулась, освеженная и веселая.

-- Я видела, как львы, покрывшие себя славой, зевали от скуки, между тем как львицы проезжали мимо, рыча от горя и желания.

Леди Олимпия бросила взгляд на Мортеля; она заметила лениво и мирно:

-- Что вы хотите? И львы устают.

В художественном кабинете, на краю мертвой лагуны, отделенной только дверью от зала Венеры, беседовали о любви. Герцогиня и Сан-Бакко соглашались с Якобусом. Зибелинд раздраженно спорил с ним. Старик Долан ухмылялся всеми своими морщинами. Мортель и Клелия смотрели друг на друга и пожимали плечами, леди Олимпия не делала и этого. Горячий взгляд Проперции не отрывался от лица ее возлюбленного.

С высоты своих пьедесталов, у обтянутых оливковым, сборчатым шелком стен, слушали беседу флорентинки с тонкими, задумчивыми лбами и юные, мечтательные язычницы. Они поражали мягкой белизной, над переносицей у них на золотой цепочке висели камеи. У них были выпуклые лбы, а волосы собраны, как покрывала. Они высоко поднимали головы на длинных стройных шеях и держали опущенными веки, такие тонкие, что, казалось, вот-вот порвутся. Высоко подняв слабоочерченные брови и слегка надув губы или же полуоткрыв их, с языком в углу рта, они улыбались едва заметной неизъяснимой улыбкой. Они стояли полукругом за стульями женщин. Через плечо каждому из мужчин заглядывал отрок или юноша-воин. Они были наги или закованы в латы, и из бурого или черного полированного мрамора выглядывала их душа, невинная и полная желаний. На их светлых лбах застыли подвиги, которых они не успели совершить.

На главной стене находилась Паллада Ботичелли. Напротив, через открытую на террасу дверь, вливался нежный майский воздух; близился вечер. В комнату, точно гигантское серебряное зеркало, заглядывала лагуна, освещенная косыми лучами солнца. Все видели друг друга на этом серебряном фоне. Художественные произведения просыпались и сверкали; в людях пробуждались вожделения.

Якобус опять повторил, что предметы искусства не имеют ничего общего с объектом любви.

-- Довольно, что я касаюсь тела руками и всеми своими чувствами. Моего сердца оно не должно задевать. Довольно, что я рисую его. Я не хочу еще и любить его.

-- Даже тогда, когда оно одушевлено? -- спросила Клелия Долан.

-- Ах, что там! В груди, которую я люблю, я хочу разбить твердые алмазы и растопить снежные глыбы. Ее мягкие холмы, на которые каждый может положить свои руки, имеют для меня так же мало значения, как труп.

При этом он устремил раздраженный взгляд на леди Олимпию.

-- Это звучит неестественно, мой милый, -- сказала герцогиня. -- Зачем вы насилуете себя?

Зибелинд, которого никто не слушал, с упрямым и сокрушенным видом уверял всех по очереди, что и искусство должно стать свободным от тела. Недостаточно, что оно имеет душу: душа должна быть мистична, плоть должна быть умерщвлена, а формы уничтожены. Женщины холодно оглядывали его и морщили нос. Он вдруг вытащил из кармана бронзовую фигурку, купальщицу, укушенную дельфином в икру. Ее пораженное страхом тело съежилось, собравшись крупными складками. Долан похотливо повертел ее между пальцами.

-- В углублениях лежит запыленная, старая искусственная паутина, -- объявил он. -- Но поверхность давно подернулась чудесной, естественной зеленью... Откуда это у вас? -- недоброжелательно спросил он.

-- Это моя тайна, -- ответил Зибелинд, поднося статуэтку герцогине. Она поблагодарила его.

-- Говорите, что хотите. Такой находкой вы всегда снова расположите нас в свою пользу.

-- Это моя слабость, -- возразил он.

Долан проворчал:

-- Мой милый, у вас вывороченное наизнанку художественное чутье.

Проперция заговорила, как бы про себя, горячо, забыв обо всех.

-- Ах! Как это ясно! Видеться как можно чаще и любить друг друга просто, без хитрости и обходов, без стыда и лжи, без обманных желаний и угрызений совести. Жить вдвоем и каждое мгновение отдавать свое сердце. Уважать мысли друг друга, насколько мы можем проникнуть в них. Не делать из своей любви грезы; пусть она будет светлым днем, в котором свободно дышится...

Она оборвала, вдруг заметив, что все замолчали и слушают ее. Ее низкий, мрачно взволнованный голос еще раздавался у всех в ушах; в эту минуту Проперция всем казалась прекрасной. Леди Олимпия откинулась назад, закрыла глаза и произнесла: "Ах!" Якобус и граф Долан захлопали в ладоши. Художница посмотрела на всех без смущения и без удовольствия.

-- Я только декламировала чье-то стихотворение, -- сказала она.

Ее сейчас же опять забыли. Ее слова взволновали всех, и все отдались своим желаниям. Мортель что-то шептал, низко наклонившись над гордым плечом леди Олимпии. Она встала и повернула ему спину. Он подошел к Клелии, с бессильным раздражением поглядывая на высокую женщину. Молодая девушка бросала на Якобуса взгляды, которых Мортель не замечал. Леди Олимпия завладела художником.

Герцогиня беседовала с Сан-Бакко и Зибелиндом. Бывший кавалерист упорно утверждал, что никогда не любил.

-- Никогда не любили? -- сказал Сан-Бакко. -- Ах, да, вы, конечно, правы. Любишь всегда или никогда.

Он стоял за герцогиней, задумчиво устремив взгляд на ее темные волосы. Она рассеянно прислушивалась к любовному шепоту, жужжание которого наполняло всю комнату, точно по ней носился рой насекомых. Переливаясь яркими красками, мягкокрылый, сластолюбивый и бесцельный, носился он по зеленым шелковым стенам, перепархивая через ноги Паллады и через оливковые ветви, переплетавшиеся вокруг нее. Но вдруг внимание герцогини приковал таинственный свистящий шепот старика Долана. Он что-то настойчиво говорил Проперции, которая отворачивалась в тоске. Он сжал свой маленький старческий кулак и быстро, и часто ударял себя им под подбородком, по своей голой хрящевой шее, выходявшей из чересчур свободного платья. Слабосильная, безволосая голова дрожала от внутреннего напряжения. Большой нос шевелился.

-- Идите домой! -- беззвучно восклицал он. -- Работайте! Что будет с нашим договором! Середина моей галереи еще совершенно пуста. Прежде, чем вы ее не заполните, я даже издали не покажу вам вознаграждения. Да, видеть-то вы его увидите, но только сквозь замочную скважину в конце моих зал. И даже вашим слезам я не позволю просочиться сквозь скважину!

Она ответила устало и упрямо:

-- Я хочу еще остаться здесь. Оставьте меня. Я слишком страдаю...

-- Вы будете страдать еще больше, если не возьметесь сейчас же за работу.

Мало-помалу все обернулись и стали смотреть на старика: казалось, маленький демон с огненным языком дракона пожирает большую Проперцию. Он весь дрожал под складками своего платья. В его сморщенном лице с чертами ростовщика из-под тяжелых век холодно и зорко глядели черные зрачки. Проперция встала и сделала шаг к двери. Но герцогиня преградила ей дорогу.

-- Оставайтесь, -- тихо и как будто небрежно посоветовала она. -- Вы не можете знать, что случится сегодня. Разве вы не видите, что ваш Морис стоит совершенно один?

-- Я здесь уже слишком давно, -- возразила Проперция. -- Но я останусь. Я -- отвергнутая, преследующая равнодушного возлюбленного, забыв стыд и достоинство, -- я знаю это. Но на пути, по которому я иду, достоинство и стыд давно уже растоптаны ногами.

-- Подавите свое отчаяние, Проперция. Насытите свой взгляд созерцанием его лица. Я уверена, что ему это приятно. Он стоит один и кусает губы. Клелия видит только Якобуса, а для леди Олимпии он больше не существует.

-- Для нее, его возлюбленной?

-- Возлюбленной? О, леди Олимпия еще не была ничьей возлюбленной. Она наслаждалась в течение половины ночи его обществом и давно забыла это. В его расслабленной крови очарование действует немного дольше. Любите его, он позволит любить себя!

Герцогиня хотела пойти дальше, но Проперция сделала движение ужаса.

-- Что это за женщина! Она в состоянии забыть и отречься от мужчины, которого она желала и любовь которого приняла! Неужели это возможно?!

-- Для нее это легко, -- пояснила герцогиня, отходя.

-- Но ведь это преступление! -- воскликнула про себя Проперция. Она стояла в стороне, ломая руки. "Как должны ненавидеть и бояться ее -- и, быть может, также любить?.. Какое непонятное преступление!"

* * *

Герцогиня подошла к группе, рассматривавшей с Якобусом какую-то картину. Он поставил ее так, чтобы свет падал на нее; леди Олимпия сидела перед ней.

-- Какая милая, милая девушка, -- сказала она. -- Чье это?

-- Какого-то великого безымянного. К чему вам два или три слога, когда-то бывшие знаком его личности? Ведь вы уже получили от него все, раз вы,

склонившись над его творением, почти готовы плакать. Подумайте, эта девушка ждет уже, может быть, триста лет, чтобы вы, миледи, полюбили ее. Она видела, как темнели и растрескивались ее краски и как блекло золото рамы. Она сидит совершенно одна на темной траве, опираясь локтем о холм, среди широкого и строгого пейзажа. Ее теплое плечо, поднимаясь из одежды, касается жесткой земли. Какой золотистый бюст и какие большие, полные желания глаза! Ее голос звучал бы, как голоса веселых детей, полных жизненной силы, но ее кудрявая головка в плену у мрачного, покрытого серыми, медленно скользящими тучами неба, -- и она молчит.

Леди Олимпия с участием сестры приблизила свое счастливое лицо к грустному лицу девушки. Голова Якобуса была совсем близко; она сказала ему на ухо:

-- Я чувствую искусство невероятно сильно. Картины живут перед моими глазами... буквально. Вы знаете, какой мужчина приводит меня в настроение?

-- Я лучше хотел бы еще не знать этого.

-- Значит, после. Вы великолепны. Вы могли бы обладать мною еще две недели тому назад. Какое удовольствие вы доставили мне за это время! Подумайте, что обыкновенно мне стоит только раскрыть объятия, и все падают в них. Вам я обязана счастьем ожидания. Вы такой милый, милый!.. Но вы должны быть влюблены.

-- Я? Нет, нет! В кого же?

-- Ну, конечно, в... меня.

Якобус покраснел. Он смущенно, подавляя смех, искал глаза герцогини, но не нашел их.

Зибелинд уловил несколько слов леди Олимпии. Он жадно и с кислой миной впитывал их; его лоб был влажен. Он торопливо прервал горячий шепот.

-- Посмотрите-ка лучше на контессину, чем рассматривать это потрескавшееся полотно. Клелия сидит за своим столиком из ляпис-лазури, и между этрусскими вазами, которыми он инкрустирован, ее рука возвышается, точно алебастровая статуэтка. Она, не раздумывая долго, приняла такую же позу, как грустная барышня на картине. Она думает, надув губки: "Они впадают в экстаз из-за нарисованной кожи. Почему они не хотят заметить, что моя такого же бледно-золотистого оттенка и что я тоже нечто необыкновенно очаровательное и благоухающее жизнью на сером небе тяжелых событий".

-- Тяжелых событий? -- спросил кто-то, и все пожали плечами. Но Мортель, не сводивший глаз с затылка леди Олимпии, который спокойно поднимался и опускался под сетью черных кружев, быстро решившись, подошел к покинутой.

-- Вас не удивляет, -- сказал он, -- что мы встречаемся здесь? На днях мы расстались в довольно плохом настроении, мы, кажется, даже поссорились...

-- И расторгли свою помолвку, -- dokonчила Клелия.

-- Очевидно, нам обоим стала ясна необходимость этого.

-- Несомненно. Таким... буржуазным требованиям, какие вы предъявляете к своей жене, я не чувствую себя а силах удовлетворить.

-- Буржуазным! Бога ради! Я считаю себя, напротив, очень передовым. Поверьте, что меня нисколько не волновало бы, если бы моя жена изменяла мне. Я того мнения, что надо, возложить на женщину немного больше ответственности за ее поступки. Позор ее поведения должен падать не на мужа, а на нее самое.

-- Ах, это интересно.

Она думала: "И необыкновенно удобно".

-- Ну, вывод из всего этого, -- сказала она, -- тот, что мы не подходим друг к другу.

"Мы отлично подходим, -- думала она, -- и он будет моим мужем".

-- Наоборот, я готов думать... -- начал он. Он размышлял, разочарованный и встревоженный: "Леди Олимпия позволяет себе просто-напросто не замечать меня -- тогда как я еще почти ощущаю ее объятия. А эта девочка держит себя так, как будто даже не вышла бы за меня замуж. Неужели я стал прокаженным?" Он заметил: -- Но по совести говоря, я не знаю, что мы можем иметь друг против друга.

-- Совсем недавно мы знали это, -- утверждала она. -- Утешим теперь немножко бедную, великую Проперцию.

-- Благодарю, -- ответил Мортель, и они расстались с холодной улыбкой.

Клелия подошла к Проперции. Она сидела у камина, между позолоченными фигурами, выступавшими из мрачного свода. Ее вытянутые руки покоились на плечах Вулкана и Афродиты. Маленькая голова с копной черных волос была вытянута вперед на неподвижной шее. Губы были сурово сжаты, углы рта опустились. Клелии она показалась страшной и прекрасной со своими большими, черными, целомудренными, как у животных, глазами на белом лице. Она стала на колени на скамеечке у ног скульпторши и прильнула к ней, белокурая и воздушная. Зибелинд смотрел на нее и думал: "Какая удачная картина! Прелестная язычница с великолепным узлом волос на затылке, обхватившая колени богини судьбы!.. Теперь она будет стараться умиловить Проперцию, не из хитрости, а потому, что в эту минуту действительно любит ее. Эта маленькая Клелия чувствует, что всем непременно хочется считать ее чем-то милым и добрым, -- и поэтому она почти становится такой в действительности. Она греется на солнце восхищения любующихся ею глаз и наслаждается собственной прелестью и добротой больше, чем все остальные. Самовлюбленная кошечка! И не имеешь даже удовлетворения ненавидеть ее. Она слишком мила и слишком хрупка".

Клелия просила:

-- Великая, прекрасная синьора Проперция, не верьте, что я ваша соперница. Не правда ли, вы не верите этому?

Проперция обратила к девушке невидящие, мрачные глаза и молчала.

-- Я порвала с Морисом, -- сказала Клелия. -- Вы знаете это. Мы совсем не подходим друг к другу. И потом меня мучит, что вы его любите и что вы несчастны. Когда я стала его невестой, я этого совершенно не знала.

Зибелинд наострил уши.

"Какой сладкий голосок, -- думал он. -- Она гладит руки великой женщины и целует их. Тот, кто сказал бы ей теперь, что она твердо решила выйти замуж за Мортелля, прямо-таки поразил бы ее".

-- О, я никогда не согласилась бы, -- уверяла Клелла, -- пройти к своему счастью через ваше горе. Возьмите его себе, если вы любите его, прекрасная синьора Проперция... Я расскажу вам историю, которая вам наверно понравится. Послушайте только, в ней говорится об одном из моих предков, Бенедетто Долан. Он был тринитарий, он разбивал цепи рабов. Но однажды он привез с собой из Берберии рабыню, цепей которой он не мог снять, потому что сам запутался в них. Как он любил ее! Он думал, как вы, синьора Проперция: видется как можно больше и просто любить друг друга... В одном из залов нашего дворца на Большом канале он заперся с ней и не расставался с ней больше никогда. Там был высокий, чудесно разукрашенный пьедестал, на который она должна была становиться совершенно нагая, как статуя; дивно вычеканенная серебряная чаша, в которую она должна была ложиться, совершенно нагая, подобно жемчужине; и украшенный прекрасными изваяниями мраморный саркофаг, на котором она должна была лежать распростертая, совершенно нагая, точно мертвая.

"Когда она стояла на высоком пьедестале, ее голова с длинными-длинными волосами доходила до дивной оконной ниши, которая находится в стене нашего дворца и от которой он получил свое имя: Dolan della Finestra. Таким образом, ее видели с улицы, из бокового переулка, который находится возле нашего дома. И каждый раз там собирался народ и требовал, чтобы прекрасную рабыню вывели и показали ему. Рыцарь отказывал. Но так как в народе распространился слух, что она сверхчеловечески прекрасна, Венеции грозило восстание, и синьория послала депутатов к Бенедетто Долан: он должен вывести свою рабыню. Он поклонился и повиновался. Он понес ее в свою гондолу: не на высоком пьедестале, на котором она стояла совершенно нагая, как статуя, и не в серебряной чаше, в которой она отдыхала совершенно нагая, подобно жемчужине, -- но на мраморном саркофаге, на котором она лежала совершенно нагая, точно мертвая. Так ехала она -- рыцарь в своих доспехах в головах у нее -- по Большому каналу. Но когда они причалили к Пиаццетте, у которой ждал весь народ, тогда весь народ увидел, что из ее сердца выступила красная капля.

Проперция плакала. Клелла вздохнула в блаженной, сладкой печали, -- так объяснил себе это Зибелинд, -- очень гордая тем, что ей удалось своими легкими, нежными прикосновениями, словечками и поцелуями повергнуть эту женщину-колосса в такое волнение, что она уронила две слезинки.

* * *

Между тем герцогиня говорила Мортеллю:

-- Посмотрите на Проперцию. Вы избегаете делать это, вы прекрасно знаете: эта полная отчаяния поза, это окаменелое молчание, эти слезы -- все это по вашей вине. По крайней мере, вам приписывают вину.

-- Я готов взять ее на себя. Самое худшее -- это то...

-- ...что гигантская страсть Проперции совершенно не соответствует вашей особе.

Он вздрогнул. Она продолжала:

-- Я не хочу сказать ничего обидного. Видишь вас рядом с этой женщиной и спрашиваешь себя: как мог этот утонченный молодой человек стать объектом таких тяжеловесных чувств. Под их тяжестью он имеет такой странный вид.

-- Странный? Говорите прямо! Смешной, хотели вы сказать. Меня находят смешным!

Его горе прорвалось. Она возразила:

-- Я не отрицаю этого. Но говорят, что вы могли бы изменить это. Находят, что вы должны были бы немножко приласкать бедняжку, тем более что, по мнению многих, это не было бы вам трудно.

-- Это мнение многих. Им легко говорить. С меня довольно этой женщины. Вы не знаете, герцогиня, целые годы я занимал при ней положение, похожее на положение импрессарио. И при этом...

Он даже покраснел от негодования. Вдруг он закусил губы. "Я чуть не проговорился, -- подумал он, -- что никогда не обладал ею! Какое счастье, что я вовремя остановился". Он пожал плечами.

-- Она старше меня, эта добрая Проперция. Красавицей она не была никогда.

-- Сегодня вечером мы несколько раз находили ее прекрасной. Гений во всех возрастах прекрасен, когда прорывается наружу.

-- Ах, какая красивая мысль! В самом деле, эта женщина гениальна! То, что она сказала прежде: "Как можно больше видеться и т.д.", было, в сущности, очень ловко выражено. Впрочем, это изложение в призе одного стихотворения Мюссе. Но очень ловко выражено.

Герцогиня подумала:

"Неужели этот человек состоит исключительно из литературного тщеславия?"

Она спросила:

-- Вы, кажется, написали пьесу?

-- Ее ставили в Петербурге, в присутствии высокопоставленных особ.

-- Каково же ее содержание?

-- Эта пьеса была этюдом об абсолютной страсти в женской душе -- страсти, которая не допускает компромиссов, словом, такой, какой в действительности не бывает. Я беспощадно анализировал ее и обставил скептически наблюдающими характерами, как рефлекторами. Это было очень забавно.

-- Могу себе представить. Пришлите мне книгу.

Он поклонился, растаяв и бледно просияв.

-- А что касается Проперции, -- заметила на прощанье герцогиня, -- то теперь вы это знаете: ее преувеличенные чувства вредят вам. Смягчите их. Настройте ее мирнее и счастливее, это в вашей власти. Тогда в вас не будут больше находить ничего особенного.

Она подозвала к себе Клелию. Мортель подумал: "Я плюю на Клелию и Олимпию, пусть они видят это". Он подошел к Проперции, Она тотчас же встала, мертвенно бледная. Они пошли рядом к двери в зал Венеры. Низкое отверстие этой двери было окаймлено широкой мраморной полосой с вставками из эмали. Там Сибилла плела венки из зеленых змей. Молочно-белые ступени вели к золотому ландшафту. Орфей, нагой, играл под фиговым деревом; в высокой траве перед ним стояли единорог, лев и серна. По сияющей синеве мчался Фаэтон в колеснице, запряженной дико ржущими конями. Между свитками и статуэтками на золотом стуле сидела герцогиня Асси в греческих одеждах.

-- Послушайте, моя дорогая, -- сказал он, -- между нами произошло досадное недоразумение. Надеюсь, что вы не сердитесь на меня за эту историю.

-- Нет, Морис, я только страдаю и хотела бы умереть.

-- О, о, какие громкие слова! Так легко не умирают. Впрочем, признаюсь, я тоже чувствую себя не особенно хорошо. Вы сами, наверно, заметили, что в начале вечера я был бледен, как полотно. Я едва решился подойти к вам.

-- Вы бледны, Морис, потому что леди Олимпия здесь и потому что вы еще думаете о наслаждениях с женщиной, которая вас не любит и которую вы не любите.

-- Проперция, я уверяю вас, это неприятнее мне, чем вы думаете. Я очень хорошо чувствую, что тогда вечером я потерял что-то, Я прямо-таки несчастен.

Он видел, как она с раздувающимися ноздрями впивала в себя его вежливые уверения в своем горе. В ней ожила надежда.

-- Мы как раз так великолепно объяснились друг с другом, -- продолжал Мортель. -- Мы решили, наконец, покинуть так называемый искусственный сад, где все -- стекло, свинец, железо, где все негодно к употреблению. Мы хотели встретиться там, где пахнет землею, и раз в жизни броситься в траву, где нас будет жечь настоящая крапива, и к нашим губам прильнет теплая земляника.

-- Ты веришь в это, Морис? Ты хочешь этого? И ты пошел за первой бессердечной искустельницей, которая поманила тебя!

-- Не говорите больше об этом, моя дорогая, мне это очень неприятно. В свое извинение я могу сказать только одно: леди Олимпия -- вихрь, разгоняющий два корабля. Что можно сделать с вихрем? К тому же я сделал бы себя смешным, если бы отказал ей в том, что она просила. Вы должны понять это... А теперь подадим опять друг другу руки.

-- И покинем искусственный сад?

-- Мы засыплем его, моя дорогая, засыплем. С меня довольно его.

Она схватила его руку.

-- Мой Морис, я счастлива.

-- Просто любить друг друга. Видеться, как можно больше... Вы очень хорошо сказали это. Это именно в моем вкусе. Пылкие авантюристки и бесчувственные девочки не интересуют меня больше. Мое сердце занято. Не ясно ли это? Что думает об этом моя маленькая Проперция?

-- Это было бы слишком прекрасно, Морис, это не может так продолжаться. Я не верю, что это может продолжаться. Разве ты не смеялся с Клелией сегодня вечером? О чем вам было шептаться?

-- Но, моя дорогая, если бы ты была спокойна, ты бы увидела, что мы холодно шутили друг с другом. Мы сказали друг другу, что решительно не подходим один к другому, и распрощались.

-- И это в самом деле кончено? Ты клянешься?

-- Разумеется, клянусь. Впрочем, чтобы доставить тебе удовольствие -- ничего не стоит поговорить с девушкой окончательно... А! Я устрою штуку! Я знаю, что я сделаю.

Их разлучили Сан-Бакко и Зибелинд, собиравшиеся уходить. Долан и Клелия тоже уходили. Проперция шепнула своему возлюбленному:

-- Ты поклялся, Морис. Помни это: будь прост и верен и не заглядывай больше в искусственный сад. Ты не знаешь, как это было бы ужасно!..

Она стояла, дрожа перед своей собственной угрозой.

Долан тихо сказал ей что-то с повелительным видом. Она ответила:

-- Я иду, еще светло, и я хочу работать. Не из-за вас, граф, а потому, что я счастлива!

-- Вы идете работать? -- спросил Сан-Бакко, -- тогда я осмелюсь попросить вас, синьора Проперция: сделайте нам для зала заседаний палаты статую Победы.

* * *

Мортейль слонялся по комнатам, напевая арию из какой-то оперетки.

-- Непременно выкину штуку! -- с гордостью говорил он себе. -- Я еще раз сделаю Клелии предложение. Как это тонко, как ловко. Прекрасный штрих для комедии! Проперция будет восхищаться мною, я приятно поражу ее этим, так как несомненно буду отвергнут, и моя наглость окончательно оттолкнет от меня Клелию. Ах, она может быть довольна мною, эта великая женщина. Я приношу жертвы для нее, совершаю даже житейскую бестактность. При том полувраждебном, легком тоне, который теперь установился между мной и Клелией, новое предложение является чем-то несомненно смешным и безвкусным. Умная девочка сейчас заметит это и даст мне отставку раз навсегда. Что ж! Пусть Проперция получит удовлетворение. Черт возьми, я порядочный человек. Всем остальным я сыт по горло, и это увидят.

Он подразумевал леди Олимпию и искал ее. Но она исчезла. Она увлекла Якобуса на террасу, ко входу в зал Венеры. Этого не заметил никто, кроме Зибелинда; он ушел, мучимый ненавистью и вздыхая от желания. Леди Олимпия сказала:

-- Тихий ветерок лагуны в майский вечер -- вот подходящий воздух для двух, обо всем позабывших любящих, как мы. Не поплакать ли нам немножко? Станьте передо мной на колени, дорогой мой!

Он смущенно и раздраженно засмеялся.

-- Предположим, что наше ожидание кончилось.

-- Уже? Но это было бы неприлично. Ведь я томлюсь всего две недели. И потом у меня решительно ничего нет, что можно было бы разбить или расплавить. В груди, которую вы любите, должны быть алмазы и глыбы льда.

-- Я это нашел в одной старой книге. В конце концов, я обойдусь и без этого.

-- В самом деле? И удовлетворитесь только внешней стороной груди, которую любите? Все равно, мы не должны так скоро прекращать странное состояние воздержания. Я его еще не знала, я едва вкусила его, -- и кто знает, вернется ли оно когда-нибудь. Вы видите, мне грустно.

-- Но я прошу вас доставить мне это счастье.

-- Будьте добры заметить, что не я требующая сторона. Я уступаю.

Она подняла свою ослепительно белую руку к розовому лицу и подала ее ему, описав большой полукруг. Он нашел это движение царственным. С загоревшейся кровью он согнул одно колено и прильнул губами к ее блестящим ногтям. Вдруг им овладела потребность похвастать и подчеркнуть свою мужественность. Он указал на зал, где в вечерних лучах кипели вакханалии и празднества созревшей любви.

-- Я думаю, -- сказал Якобус, -- что вы ищете у меня большего, чем одна ночь, которую вы даете всякому. Вы знаете, кто я, и что все это... все то, чем полны эти стены... во все это нам предстоит окунуться вместе.

-- Проведите в жизнь то, что вы нарисовали, -- спокойно возразила она. - Я с самого начала рассчитывала на это; вы, вероятно, помните мои слова. Прекрасные произведения искусства для меня обещания...

Она засмеялась влажными губами и откинула назад голову. Он бурно поцеловал ее в подставленную шею. Она слегка пошатнулась, увлекла его за собой, и они, обнявшись, чуть не упали к ногам огромной мраморной женщины, вонзавшей кинжал в свою грудь.

-- Моя гондола ждет, -- объявила она затем и большими, эластичными шагами повела его за руку через ряд кабинетов, мягкая и довольная. Она прибавила:

-- Когда сегодня вы так яростно воевали за права души, я сейчас же поняла, как обстоит дело с вашей плотью.

И у выхода:

-- И подумайте, как мы необыкновенно счастливы. Ведь из всего любовного шепота, жужжание которого сегодня весь вечер носилось между оливковыми стенами, вероятно, не вышло ничего, кроме нашей ночи.

В канале она заметила, как исчезла за углом гондола Долана.

Мортейль тоже был в ней. Старик, из страха перед вечерней сыростью, сидел под навесом; молодые люди остались снаружи. Мортейль заметил:

-- Ваш папа пригласил меня в гондолу. Вообще, его дружеское отношение ко мне нисколько не изменилось.

-- Почему же? -- сказала Клелия. -- Он ничего не имеет против вас в качестве зятя. Вина в нас.

Мортель проглотил намек.

-- Не ошиблись ли мы, в сущности?

-- Оставьте, наконец, этот вопрос в покое. Ведь мы согласились, что не понимаем друг друга.

-- Простите. Я докучаю вам?

-- Вы скорее удивляете меня. Прекратим этот разговор. Ведь мы не в состоянии говорить серьезно о нашем браке.

-- Я чувствую себя в состоянии, -- заявил Мортель.

"Почему она не верит мне?" -- думал он, искренно оскорбленный, совершенно забыв, что только играет словами.

-- Ну, хорошо, -- сказала Клелия, задорно засмеявшись, -- представим себе картину: мы соединяем свои гербы. Ваш Бретонский лесной замок будет отражаться в Большом канале, а палаццо Долан будет созерцать себя в болоте, окружающем замок Мортель, как в мертвом глазе. Я посажу своего супруга в самую глубину нашего дворца и поверну ключ в замке. В свете мы только мешали бы друг другу; у вас слишком буржуазные наклонности, как вы знаете. Но каждый раз, как мне удастся получить власть над какой-нибудь влиятельной особой, я позабочусь и о вас. Вы получите орден. У вас есть какой-нибудь?

-- Да. Русский орден св. Станислава. Я получил его за свою пьесу, -- коротко и холодно ответил он.

-- Вы будете также рыцарем итальянской короны, что имеет большую ценность. Когда у моих ног будет лежать художник, я заставлю написать вас.

Он прервал ее болтовню.

-- Послушайте, Клелия, вы серьезно оскорбляете меня. Вы шутите вещами, которые для меня священны.

-- Не сердитесь, -- попросила она с пристыженным и робким видом. -- Я была легкомысленна, но я заглажу это. Вот...

Она протянула ему руку, прелестная и простодушная.

-- Я буду вашей женой.

-- Бога ради! -- чуть не крикнул он. Он закрыл рот и размышлял.

"Дать заметить, что попался? Неужели сделать это?"

Но он уже держал ее руку. Они остановились перед палаццо Долан. Несмотря на приглашение графа, Мортель не поднялся вверх. Он остановился на лестнице пристани и говорил себе, что это славная история. Он был растерян, и в ушах его раздавалась угроза Проперции:

"Ты поклялся, Морис. Помни это, будь прост и верен и не заглядывай больше в искусственный сад. Ты не знаешь, как это было бы ужасно".

-- Что было бы ужасно? -- спросил он затем, пожимая плечами. -- С этой женщиной нельзя говорить. Что она может сделать? И чего она хочет? Неужели она думает запереть меня на всю жизнь в своей мастерской, как

уже попробовала раз в Петербурге? Она примирится с тем, что я женюсь. Это единственное средство сделать ей ясным, что между нами все кончено. Она так туга на понимание. Впрочем, я могу прежде оказать ей... известную любезность, если она теперь, действительно, расположена к этому. Может быть, и потом. В сущности, я доволен. Значит, тебя хотят, мой милый. Ты сегодня на момент показался себе чем-то вроде прокаженного. Это было заблуждение. Тебя хотят в мужья! И в любовники! Олимпия тоже образумится... Еще не все кончено, мы еще проживем.

Лодочник ждал его приказаний. Мортель все еще стоял на старых мраморных ступенях и смотрел вниз, на свое отражение в воде. Он даже повернул голову в сторону, чтобы насладиться также созерцанием своего профиля.

-- Нарцисс, -- сказал он про себя и опять пожал плечами.

* * *

Двадцать часов спустя все знали, что помолвка Клелии и Мортеля возобновлена. Герцогиня поспешила к Проперции. Она нашла ее в ее светлой, обширной мастерской на Rio di San Felice; ничего не слыша и не видя, она с молотком и резцом в руке носилась трепеща вдоль огромного полукруглого барельефа. Герцогиня узнала фигуры.

-- Это Любящие в аду! Это сбившейся в кучу, как воробьи зимой, стаяй носятся в пурпурном мраке, под ужасным оком Миноса, те проклятые, которых любовь изгнала из нашей жизни. А вот впереди он сам выступает из глыбы, скаля зубы и обвивая хвост два раза вокруг тела.

-- Проперция, -- просила герцогиня, -- вы не хотите даже поздороваться со мной? Мне хочется поцеловать вас за то, что вы работаете.

Но скульпторша ничего не слышала. С горящими глазами, с сжатыми губами, она носилась от одной мраморной фигуры к другой, и ее гневная, мстительная рука наносила удар каждой, оставляла ее и возвращалась к ней, не позволяя ни одной из этих испуганно стонущих фигур застыть и достигнуть покоя.

"Не кажется ли Проперция сама, -- думала герцогиня, -- адским ураганом, который этих гонимых своими страстями в жизни гонит теперь в вечности? Или она -- и пропасти и скала, на которой эти несчастные проклинаят божественную добродетель?"

Под резцом Проперции то там, то здесь напрягался мускул, или на свет выходили уста, вдыхавшие на жестком, гладком камне. Вихрь искривленных, пылких и безнадежных тел бушевал все быстрее, внушая страх и отнимая дыхание. Проходила пышная Семирамида, опьяняюще жаловалась Дидона, Клеопатра, изможденная желаниями, прижимала кончики пальцев к жестким почкам своих грудей. Елена проносилась мимо, белая, холодная, невинная. Ахилл, покорный только любви, вставал на дыбы, а за ним мчались Парис и Тристан, и еще, и еще -- и, наконец, они, слишком много читавшие о Ланселоте, и оба плакали.

Проперция остановилась немного дольше над этими двумя, и ее молоток задрожал. Он положил сладостных грешников в объятия друг друга. Герцогиня обхватила сзади ее голову.

-- Вы чувствуете сострадание, по крайней мере, к этим?.. Проперция, перестаньте! Вы пугаете меня.

-- Оставьте меня, я должна кончить!

-- Я уверяю вас, что у вас ничего не выйдет при такой бешеной работе. Вы вся холодная и мокрая. Ваши руки тоже холодны, а между тем они уже целые часы размахивают молотком. Для кого вы мучите себя так? Кто торопит вас?

Губы Проперции не разжимались. Ее взгляд пронизывал камень, извлекая из него всем муки ада, как бы глубоко они не скрывались в нем.

-- Послушайте, Проперция, -- воскликнула герцогиня. -- Вы не будете больше ударять по плачущим глазам Франчески. Я положу на нее свою голову, -- вот так, теперь ударяйте!

Проперция, наконец, очнулась. Герцогиня увезла ее на Лидо. Они въехали у св. Николая в маленький рукав и, избегая людей, прошли по дюнам и засохшей траве к морю. Последние облака, как завеса, поднимались из него. После тревожного дождливого дня море совершенно затихло и успокоилось; невинное и бледно-голубое, оно как бы отвесно спускалось с неба. Над ним, точно легкое, как паутина, розовое покрывало, уносился вдаль горизонт. Под вечерним заревом желтым пламенем вспыхивали паруса.

Герцогиня шла у самого берега, по твердому песку и по ковру раковин, голубых, белых, желто-красных и лиловых. Она любовно обходила каждый маленький изгиб берега. Проперция шла за ней, тяжело дыша. Вдруг она остановилась и пробормотала:

-- Я задыхаюсь, как молоденькая девушка весной.

-- Этот воздух душит, -- сказала герцогиня. -- Он точно петля из стеклянных ниток, гибкая, мягкая, блестящая и очень крепкая.

Она обернулась. Проперция торопливо чертила кончиком зонтика на мокром песке какие-то буквы. Маленькая волна, легкая и задорная, смыла их. Проперция бессильно сказала:

-- Так все. Каждый день я врезываю свою нежность и свой страх в его сердце, -- и каждый день все уносится прочь.

-- И ведь он поклялся! -- продолжала она. -- На этот раз он поклялся! Он обещал никогда больше не заглядывать в искусственный сад, в котором мы причинили друг другу столько страданий. И тотчас же, в тот же вечер, он опять вошел туда и взял себе там невесту... Ах! Она ждала его среди роз из камня и мирт из фарфора. Они подходят друг к другу! Они будут лгать друг другу, смеяться друг над другом, и любовь для них будет только игрой, -- но они будут принадлежать друг другу. Мной же, -- о, я горда -- мной он не обладал ни разу за все эти годы!

-- Как, Проперция, вы ни разу не позволили ему любить себя?

-- О, я горда! Я -- крестьянка с римских гор, я осталась дикаркой и никогда не принадлежала мужчине... за исключением одного, -- тихо прибавила она, дрожа. -- Он был слишком силен.

Она вздохнула. Она чувствовала, как все, что было в ней великого, растворяется в безумном сладострастии этой минуты. Ее горе, затвердевшее за день под тысячью ударов молота, растаяло в этом нежащем майском вечере, разлилось по небу вместе с заревом, развеялось по дюнам вместе с песком, расплылось в бесполезных словах, точно слабая прибрежная волна. Она заговорила, обратившись к морю. Она говорила, кто она; она открывала это море.

-- Я еще вижу широкое поле... Это было накануне Рождества. Мы хотели сжечь в камине, там, наверху, в нашем темном скалистом гнезде, рождественское дерево. И нам нужен был хворост, чтобы поджечь его. Пьерина и я спустились в Кампанью. Какой темной и бесконечной была она! Ее жесткие колючки сверкали на ярком солнце, а трамонтана ломала их, как стекло. Она носилась над ними и со свистом гнала по голубому небу белые, как мука, облака, с головокружительной быстротой, как будто смеясь.

Тогда пришел он и тоже смеялся. Он кричал уже издали по ветру, что хочет нас обеих. Он был худощав, шляпа съехала у него на затылок. Его костюм выцвел от солнца и непогоды, и кожа загрубела от ветра. Мы смеялись над ним и угрожали ножами. Мы срезали ветви с терновых изгородей у реки. Мы были рослые, сильные девушки... Он сразу напал на меня, более сильную, и стал бороться со мной. Его товарищ, маленький и грязный, крепко держал Пьерину, очередь которой была после моей... Я уколола его ножом в руку. Он засмеялся и вышиб его у меня из руки. Вдруг Пьерина вырвалась. Раздался плеск воды: она бросилась в реку. -- Прыгай и ты, -- крикнул бродяга, шумное дыхание которого я ощущала на своем лице. -- Но ты, конечно, слишком труслива! -- Он топнул ногой; на секунду он забыл меня. Я побежала к реке.

До нее было всего пятнадцать шагов. Чего только я не видела за эти пятнадцать шагов и чего не передумала! Я видела: течение уносит Пьерину, маленький, грязный человечек бросает ей веревку, она не берет ее, она утонет. "Ты тоже утонешь", -- говорю я себе, и бегу. Он бежит за мной и смеется. Я вижу, как мчатся облака и как бегут по полю их тени. Я думаю: это облако похоже на мешок, а вот это на ягненка; прежде чем они сольются, я буду лежать в воде... Я видела сверкающую стаю диких голубей. Они летели направо, потом поднялись вверх и полетели прямо. Я видела, что лес, находившийся на расстоянии мили, был то синий, то черный. О, я могла бы и теперь еще очертить пальцами в воздухе каждый клочок неба между деревьями! Перед ним теснится стадо овец, крошечное, затерянное в пространстве. Я различаю даже пастуха. Он находится наверно на расстоянии часа ходьбы, и я кричу по ветру, чтобы он пришел и помог мне. Внезапно я думаю: "Теперь мне не помогут ни люди, ни бог", и падаю, и он берет меня. Он со смехом берет меня и идет дальше. Пьерина уже на другом берегу.

Герцогиня слушала и вспоминала, как ее изнасиловал сияющий от поклонения толпы трибун. Она вспомнила и обо всем том, что перечувствовала с тех пор, о чем грезила, во что играла и что пробудила к жизни. Вдруг она сказала:

-- И после этого вы стали великой художницей?

-- После этого я долго шла, все дальше и дальше от родины, пока не пришла в Рим. Я поступила в служанки к одному скульптору -- Челести. Он не знал, бедняга, что через восемь лет я буду делать ему памятник. Он скоро перевел меня из кухни в мастерскую и заставил работать. Меня хвалили, мне платили. Я чувствовала, что я нечто. Но внутри меня как будто сидел черный, грубый зверь. Никто не знал об этом; но я была обречена ему. Он доставлял мне почести и деньги. И когда они мне говорили, что я велика, в душе у меня все темнело, а каждый раз, как я посылала своим деньги, мне казалось, что я пятнаю их греховным заработком... Да, -- сказала Проперция, обратив к герцогине взгляд, тяжелый, как рок, -- я великая художница, но когда-то среди широкого поля меня изнасиловал бродяга.

Они помолчали.

-- А ваша подруга? -- спросила затем герцогиня. -- Та, которая была готова заплатить жизнью за свою девственность. Что стало с ней?

-- Пьерина? Вы, наверное, знаете ее. Это Пьерина Фианти.

-- Та самая, которая так прославилась банкротством маркиза Пини? Куртизанка!.. Какое неожиданное будущее носим мы в себе! Вам, Проперция, было предназначено любить маленького, улыбающегося парижанина. Вы знаете, что он фат, который не может забыть, что его хрупкие прелести зажгли великую Проперцию.

-- Я это знаю. Что из того?

-- Он стыдится вас и все-таки чувствует себя польщенным. Вы понимаете, как все это мелко?

-- Я понимаю. Что из того?

-- Он не может найти выхода. Поэтому он женится. Вы должны извинить его, это его последнее убежище от вас.

-- Я знаю все. Я поспешила к нему: он не принял меня. Я написала ему, спрашивая, хочет ли он, чтобы я убила себя. Он ответил, что очень сожалеет о происшедшем недоразумении. Он советует мне выйти замуж или очень много работать.

-- Философ! А не сожалеете ли вы о том недоразумении, которое занесло это умное, но призрачное существо в среду ваших выпуклых, вызывающих мраморных богов?

-- Я... не имею права. Ни выбора, ни заблуждений нет. В течение десяти лет я знала только этих мраморных богов и ни одного мужчины. Но едва на мой порог ступил Морис, моя мастерская наполнилась только его бюстами. Я просто-напросто не отпускала его от себя, я таскала его за собой по всей Европе. Он прав, он был немногим больше, чем мой импрессарио. По крайней мере, никто не знал, насколько больше он был для меня. Для меня он стоял на всех пьедесталах. Когда он уходил, все

пустели. Сколько раз я запрещала ему уходить и хотела его запереть, как тот Долан, который запер свою рабыню. Один раз я сделала это: вблизи Петербурга, в усадьбе у опушки леса, где я работала для великого князя. Морис стоял один перед своим собственным бюстом. Я закончила его и увенчала розами. Я разглядывала его: мне показалось, что вся нежность, которая была затоптана во мне десять лет тому назад, среди широкого поля, вдруг поднялась, теплая и исцеленная, но полная страха. Я вышла на цыпочках и заперла дверь на ключ. Я бродила по комнатам, все возвращаясь к запертой двери, за которой он стоял перед своим бюстом. И я прислушивалась, и ждала, и наслаждалась своим тайным обладанием, и дрожала. Но под конец я только дрожала. Ключ горел у меня в кармане. Я всунула его в замок и отперла. Морис сидел спиной к бюсту и курил. Я стала бормотать извинения, сказала, что дверь заперла служанка. Он улыбался, а я умирала от страха, что он может догадаться об истине.

Теперь я думаю, что он не догадался ни о чем. Он полон тонкостей, ему никогда и в голову не придет нечто такое грубое, как то, что когда-то случилось со мною, среди поля, под ветром и солнцем... И, может быть, во всей моей нежности, во всей моей тоске по простой, неизменной любви, свободной от хитрости, стыда, разочарования -- быть может, в глубине души я не хотела ничего другого, как быть еще раз так схваченной и изнасилованной, как тогда бродягой... Я сказала ему это...

-- Сказали ему?

-- Но он ничего не понимает. Таких женщин, как Проперция, не берут, говорит он. Их даже не просят. Вероятно, он прав. И все же я уже боролась с ним не меньше, чем с бродягой. Но мы боролись в душе. Я часто приковывала его к себе, когда он уже надеялся, что сможет презирать меня. Великий князь дал ему орден, потому что я пожелала этого -- чтобы иметь право любить его... Он стал женихом; я была слепа, когда позволила ему это. Я завоевала его обратно, и в то мгновение, когда он не хотел никого в мире, кроме меня, его поманила леди Олимпия, и он пошел за ней. Потом он опять вернулся, я простила ему -- и, несмотря на свои клятвы, он во второй раз становится женихом.

-- Пора было бы покончить с ним, -- сказала герцогиня. Лихорадочная речь бледной женщины тревожила ее.

-- Я сделаю это. Он ввел меня в лабиринт искусственного сада. Теперь я сама запутаю его в нем. О, мое чувство было так просто, как камни, на которые оно когда-то изливалось! Я была глупа, я не могла говорить. Моя рука принуждала камень, он говорил за меня. Теперь я знаю хитрости, которые делают больно! Я подарила ему на память то, что было для меня дороже всего: мою милую Фаустину, -- и он небрежно отдал ее другим. Теперь я оставлю ему другой знак памяти, который долго еще будет гореть у него в крови!

-- Что вы хотите сделать? -- спросила герцогиня. Проперция едва держалась на ногах.

-- О, я знаю, что я сделаю. Я придумала что-то, вы и не подозреваете, что. Это превосходит самые коварные средства обольщения, какими когда-либо

мучила мужчину какая-нибудь пылкая авантюристка. Леди Олимпия отдается только на одну ночь и оставляет в душе своего возлюбленного сожаление, что он потерял ее. Но она все-таки отдается, не правда ли, и сожаление смягчено каплей удовлетворения. Я сумею добыть из растений искусственного сада гораздо более сильный яд... Один из нас, наверное, умрет от него, будем надеяться, что, по крайней мере, один. И пусть бьют того, кто останется, будет еще раз увенчан цветами, как тогда. Пусть он опять стоит перед ним и любит себя и своей победой!

Герцогиня принудила ее пойти дальше.

* * *

С седьмого июня лагуну окутали тяжелые испарения. Неподвижный влажный и горячий воздух давил грудь. Все предметы казались скользкими на ощупь. Набережная была полна томящихся людей, освежавших себя мороженым.

Герцогиня встретила с Мортелем; он сказал:

-- Я хочу немного освежиться перед тем, как отправиться к Проперции.

Она заметила, что на нем визитный костюм.

-- Проперция пригласила вас?

-- Да... пригласила, если угодно употребить это слово.

-- Я, кажется, понимаю вас и я говорю вам: берегитесь.

-- Что вы хотите сказать? Прежде всего я следую вашему совету, герцогиня. Вы, конечно, поверите мне, что иначе я наложил бы на свои уста печать молчания. Но если я соглашаюсь на свидание, на которое меня зовет Проперция, то именно потому, что вы советовали мне смягчить чувства бедной женщины.

-- Посредством... ночи любви.

-- Добрая Проперция, как мало значения имеет для меня ее ночь любви. К тому же я жених... Но если бы я мог обсудить положение вещей со своей невестой, -- есть вещи, о которых не говорят с молодыми девушками, -- Клелия, конечно, оказалась бы достаточно свободной от предрассудков, чтобы одобрить мой образ действий. Она пожертвовала бы своими правами -- я убежден в этом, -- чтобы видеть бедную, великую Проперцию более спокойной и счастливой. А ведь в моей власти, не правда ли, сделать ее более спокойной и счастливой.

-- Как счастливы вы сами! -- воскликнула герцогиня. -- Вы внушили уже Проперции Понти целый ряд образов полной отчаяния страсти. Теперь вы вызовете на свет творения ликующей, удовлетворенной любви. Вы -- избранник, вдохновляющий величайшую художницу наших дней!

-- Вы думаете?

-- И вы заслуживаете этого, -- прибавила она, и ее насмешка была так замаскирована, что Мортель покраснел от удовольствия.

Несколько дней спустя она опять увидела его в мастерской скульпторши. Комната была полна посетителей, восхищавшихся законченным барельефом с бурным хороводом проклятых любовников. Мортель сидел один, сгорбившись и задумавшись. Очевидно, он провел бессонную ночь,

глаза его казались стеклянными. Он часто вставал и, держась неестественно прямо, подходил к Проперции, не обращавшей на него внимания. Она не показывала, как обыкновенно, свое творение молча; в этот день она была красноречива. Случайные гости слушали ее, и им казалось, что сам мрамор говорит с ними. Они переглядывались, изумленные тем, как глубоко они наслаждаются. Никто не обращал внимания на тщательно отделанные замечания Мортейля. Герцогиня бросила на него взгляд; в своем страхе он тотчас же избрал ее поверенной.

-- Это глупо. Я в самом деле кажусь себе чем-то вроде прокаженного, -- пробормотал он.

Он овладел собой.

-- Что вы хотите? Неудачный день. Проперция подвержена настроениям.

Но в следующий раз она застала ту же картину. Она осталась до конца. Мортейль выскользнул из комнаты вслед за остальными. Герцогиня сказала:

-- У него очень подавленный вид. Что вы сделали с ним? У него глаза, как горячее стекло.

-- О, -- медленно произнесла Проперция. Она прошла по обширной мастерской, лихорадочно-бледная и напряженная, как будто за ее движениями все еще следили пятьдесят любопытных глаз. -- С недавнего времени, со времени нашей странной ночи, он видит новую Проперцию, которой не видят другие. Он пользуется всякой возможностью, чтобы подойти ко мне и шепнуть мне что-нибудь, и я все еще чувствую на своем обнаженном теле его желание, точно прикосновение теплых, влажных пальцев.

-- Разве ваша ночь была такой странной?

-- Спросите его. Он еще не оправился от испуга. Я позвала его. Когда он раздвинул портьеры моей комнаты, он увидел меня совершенно нагой на диване между подушками и мехами. Я была очень хороша. В первый раз в жизни чувствовала я в своем теле то высокое искусство, которое обыкновенно высекаю из мрамора. Свечи стояли наискось надо мной: голова и шея были откинута назад и лежали в полумраке. Нижняя часть ног тоже исчезала в тени. Но на тело, с груди до колен, падал золотисто-желтый свет. Вокруг меня в полутьме сверкали золотые крапинки на черном газе. Золотая парча за моими плечами мрачно горела. Одну руку я подложила под волосы. Мускулы ее широко распластались. Морис различал бархатистые тени под мышками. Округлив бедро, я повернулась к нему, когда он вошел: ему было страшно.

Я ждала его, не говоря ни слова, и спокойно наблюдала за его движениями. Его дыхание коснулось моей груди; я не могла помешать ей стать теплою, так как его дыхание жгло. Он оживлял меня сначала своим дыханием, потом голосом и, наконец, руками, которые дрожали. Он был Пигмалион. Да, я, в руках которой он всегда был куском мягкой глины, я позволила ему вообразить, что он вызовет возлюбленную из мрамора моего тела! Но когда он, наконец, хотел взять меня, он заметил, что я все еще

была камнем. Он отшатнулся. Это повторялось все снова, -- и так прошла ночь.

Вначале он выказал только удивление: я оказалась настолько сильнее его. Он произнес несколько слов, порицавших мое поведение. Я молчала.

Тогда он сообщил мне, что любит меня. Я молча смотрела на него. В заключение он, чтобы подтвердить себе свою мужественность, попробовал взять меня насильно. Но он отлетел, не причинив себе никакого вреда, к увешанной коврами стене. После этого он замахал руками, бледный от гнева, и бросился к выходу.

Но он тотчас же опять выскочил из складок портьеры. Дверь была заперта снаружи. Я велела запереть ее, я во второй раз отважилась похитить и запереть человека, которого любила; но на этот раз я не бродила с дрожью вокруг. Я сидела, нагая и беспощадная, в пустом, мягко обитом покое, где между коврами чувствовалась духота дождливой ночи. Он шагал передо мной взад и вперед, высоко подняв голову и совершенно успокоившись. "Вы знаете, что это называется лишением свободы? -- спросил он, -- и что закон накажет вас за это?" Но он не получил ответа. И мало-помалу он утратил холодное сознание своего права и впал в бешенство. Он грозил опозорить меня, сделать меня посмешищем улиц, запереть перед мной двери приличных домов. Он тряс дверь и кричал: "Откройте!". Ткани заглушали его голос, и, в конце концов, он сообразил, что для парижанина во фраке звать на помощь в момент, когда он находится в соблазнительном покое вместе с нагой Проперцией Понти, -- отчаянный шаг.

Он устал, осмотрелся, ища какого-нибудь сиденья, и не нашел ничего. Он опустился на колени подле меня и стал умолять меня, кроткий и слабый, как дитя. Вдруг он опомнился и принялся хвалить мою удачную шутку. Я заметила, что у него стучат зубы. Я больше не позволяла его трясущимся рукам прикасаться к моему телу. И, наконец, он стал стонать, извиваясь предо мной, уничтоженный, в слезах. Я подождала, пока он бросился на меня в последний раз, отчаявшись, почти без желания. Он тотчас же раскаялся в этом и улыбнулся так любезно, как улыбается только он; он как будто хотел сказать: "Простите, такому благовоспитанному человеку, как я, не подобает так вести себя, я отлично знаю это, но в какие странные положения можно попасть"... Затем он медленно опустился на пол, дрожа от усталости и возбуждения. Свечи погасли, за коврами наступило утро. Я бросила ему одеяло: это была единственная милость, которую я из сострадания оказала ему в эту ночь любви. Ни одного слова я не сказала ему в эту ночь любви.

-- Вы отомстили, -- сказала герцогиня. -- Вы должны быть довольны.

-- Вполне довольна, -- подтвердила Проперция. -- Мне не нужно больше ничего. Теперь он ежедневно спрашивает меня, порвать ли ему со своей невестой. Я заявляю ему, что это лишнее. Он умоляет позволить ему отдать свою жизнь на служение мне. -- Слишком поздно, -- отвечаю я. -- Он будет всюду следовать за мной. Он отступит, предсказываю я ему, как только увидит, что Проперция отважилась пойти слишком далеко.

-- Как он несчастен! -- воскликнула герцогиня.

-- Да! Как мы несчастны! -- пробормотала Проперция.

* * *

Клелия и Мортель ускорили день своей свадьбы. Накануне, в сумерки, к герцогине явился хромой слуга Проперции, рыдая от ужаса: его госпожа при смерти.

Герцогиня подъехала к дому Проперции. Канал был заполнен гондолами. На грузовое судно спускали огромный мрамор: Любящих в аду. Граф Долан отдавал приказания рабочим, съездившись в своем платье, морщинистый и властный.

-- Вот оно! -- воскликнул он, увидя герцогиню. -- Ее последнее творение -- мое. Разбитую беспорядочную силу Проперции, погубленную ею самой, -- я, я один еще раз вернул к жизни. Это творение вырвано у небытия, в которое уже была погружена Проперция, -- и вырвал его я!

-- Что же дало вам эту возможность?

-- Нечто совершенно простое, -- пояснил старик, и в морщинах его ухмылявшегося лица мелькнули одновременно насмешка и любовь. -- Обладание ее душой!.. Не изумляйтесь, герцогиня. Душой Проперции она сама называет свою милую Фаустину. Это старая мраморная голова, она когда-то выкопала ее из римской земли, из которой вышла сама. Проперция принадлежит тому, кто владеет ее душой; а эту последнюю я запер в своем дворце. Я сказал Проперции: "Работай! Пока ты не кончишь работы, я буду показывать тебе Фаустину только через замочную скважину в конце моих зал. И даже твоим слезам я не позволю просочиться сквозь скважину..." Она работала. Теперь я должен был, согласно нашему договору, принести ей ее душу. Она в комнатах, взгляните на нее, герцогиня! Еще немного, и она уйдет навсегда.

Старик опять обратился к носильщикам. Герцогиня вошла в опустевшую мастерскую. В середине одиноко стояла голова, стертая, точно восковая, с разбитым носом и поврежденным черепом. Ее черты расплывались в сиянии вечернего неба; казалось, они возвращались обратно в мраморную глыбу, из которой вышли когда-то. Они показались герцогине целомудренными, величественными, не знающими счастья, как сама Проперция. Она подумала:

"Да, это ее сильная и богатая любовью душа! Она вызвала ее к жизни из того же поля, в которое когда-то втоптал ее бродяга. Она отдала ее молодому человеку, который однажды повертел ее в руках и нашел, что она "недурно сделана". Он подарил ее старому ростовщику, и Проперция, чтобы выкупить ее, рассказала то, что знала о муках осужденных любящих. Теперь она умирает. Пойти ли мне туда, в одну из тех комнат, где любопытные глазают на конец тела Проперции? Я лучше останусь здесь и буду думать, что я одна удостоилась заглянуть ее душе в уже стертое, уже наполовину ушедшее от нас лицо".

Дверь открылась. По гулким плитам быстро прошел священник, держа в руках что-то накрытое, казалось, внушавшее ему страх и гордость. За ним шел мальчик, размахивавший кадилом. Они исчезли.

Герцогиня вошла в глубокую оконную нишу; она вспомнила, что первые жалобы Проперции услышала в полумраке такой же ниши в Риме. Вдруг она увидела бюст Мортейля. На его лбу, изящном, слабом и скептическом, был узкий лавровый венок. На пьедестале лежал листок, герцогиня прочла при последних лучах солнца:

I son colei che ti die' tanta guerra
E compie'mia giornata innanzi sera.

-- Да, это победитель, -- прошептала она. -- Он может теперь стать перед своим увенчанным бюстом и любоваться собой и своей победой. Побежденная шлет ему изъявление покорности: "Вот я, так много боровшаяся с тобой и окончившая свой день раньше вечера".

"Это победитель. Я спрашиваю себя: неужели великая, страстная женщина не могла раздавить своими каменными плечами слабого насмешника? Если же тонкости предназначено жить дольше, чем силе, -- почему тогда умерла бедная Бла: она, прелестное создание духа, ставшее подчиненной вещью и беззащитной жертвой красивого животного! Я спрашиваю себя, как тогда: откуда грозит такая судьба, и кому не грозит она?"

И как тогда, ей стало страшно.

Она вышла. На улице она опять встретила Долана; на скулах у него играл счастливый румянец.

-- И это тоже будет моим! -- воскликнул он. -- И кинжал!

-- Кинжал...

-- Которым она сделала это... Вы понимаете, герцогиня, пока на него наложил руку суд. Но я уже обеспечил его себе. Это работа самого Риччио. На рукоятке находится великолепное чудовище из слоновой кости, Венера-Астарта с двенадцатью грудями!..

Ей пришлось долго ждать, пока ее гондола смогла подъехать. Она села в нее и, остановившись среди других гондол, заградивших канал, стала ждать. Здесь были мужчины и женщины из всех стран; слышался шепот на всех языках: "Она умирает". На мостах и в переулках, черных и сырых от сирокко, теснился народ. Женщины перегибались через перила, и их черные платки развевались над черной водой. Они шептали: "Проперция умирает".

Из дома вышел священник, -- его руки дрожали под сукном, -- и быстро пошел по узкому берегу. Мальчик за ним размахивал кадилом. Прошло еще несколько минут. И вдруг в ближайшей церкви зазвонил колокол. Он звонил громко и торопливо, -- своей деловитой торопливостью он заглушал свой страх.

В черной толпе на мостах и в переулках пробежал несмелый ропот. Женщины в гондолах зарыдали. Чей-то молодой голос, ясный и дрожащий, сказал:

-- Проперция умерла.

Герцогиня сделала лодочнику знак отъезжать. Левой рукой она прикрыла глаза.

III

В последовавшие за этим недели она подолгу была одна. Она бродила по Венеции, и всюду за ней следовала мертвая Проперция. Она осыпала бледную спутницу вопросами, полными разочарования и обвинений, но не получала ответа. Она возвращалась домой, и на террасе ее ждала гигантская белая фигура женщины, вонзавшей кинжал в свою грудь. "Неужели это ответ?" -- восклицала она, измученная и гневная.

Но она чувствовала, что это угроза.

Она входила в свой художественный кабинет.

"Так вот каков был смысл любовного шепота, жужжанием которого была наполнена эта комната, -- переливавшегося яркими красками, легкокрылого, сластолюбивого и бесцельного. Желание, обольщение, хитрости, любовные игры -- они носились здесь, как прелестные насекомые, по стенам, по ногам Паллады и оливковым ветвям, вьющимся вокруг нее. Мы следили за ними, очарованные и улыбающиеся. Теперь они, точно шутя, влетели в открытую могилу. Мы стоим перед ней и не можем этого понять".

И она долго неподвижно стояла, не отрывая глаз от земли; она разверзалась перед ней.

Но потом ее опять охватывало жгучее презрение, точно к родственнице, запятнавшей фамильную честь.

"Как могло это произойти! -- говорила она невидимой. -- Твоя душа похожа на памятник, более долговечный, чем город, в котором он воздвигнут. Каждое из твоих слов -- медаль; не один из тех, кого ты знала, переживет свою эпоху -- как тот император, который исчез бы бесследно, не будь монеты, которую находит в борозде крестьянин. Твои чувства слагаются, как стихи, сильнее меди и долговечнее богов. Непокорная скала носит на себе печать твоих грез".

Она часто повторяла себе эти слова: строфы, изваянные во славу искусства художником, принадлежавшим ему. Наконец, она сказала себе, успокоенная и проникнутая торжественностью:

-- Как можешь ты быть мертвой, когда я, не переставая, чувствую в своей душе твою руку. Она творит в ней все новые образы. Обширные страны, которые заключены в ней, ты населила твоими полубогами, замкнутыми, медлительными, сильными и не знающими смеха, -- какими желала я их и какими создала их ты: ты, созидательница.

Ее взгляд упал на руку Проперции; она лежала, отлитая из гипса, на амарантовом бархате.

Она отвернулась, бледнея, как будто перед ней очутилась сама Проперция в своем полотняном переднике, неслышно, на своих высоких каблуках, подошедшая по красному ковру, как тогда в своей мастерской в Риме, когда герцогиня впервые посетила ее. Ей казалось, что она слышит низкий, мягкий голос:

-- Вы здесь у себя, герцогиня: я уйду. Вы были поглощены своими мыслями и испугались, увидя меня.

-- Я вижу вас в первый раз, Проперция. В первый раз чувствую я, что значит творить, творить жизнь вокруг себя...

Она была потрясена благоговением почти до боли.

У Проперции была полная и гордая рука. Большой палец отделялся короткой, волнистой змеиной линией. Пальцы равномерно суживались к концам, загибавшимся кверху.

"Сколько раз я заставляла тебя за ночной работой! -- думала герцогиня. -- Рабочие, пунктировавшие мрамор, уходили; было темно. Но ты все еще не хотела закончить дня, он был для тебя еще не достаточно богат. Ты привязывала ремнем ко лбу маленький фонарь и так обходила камень: он освещался со всех сторон, и твои удары сыпались на него. Так кружат теперь мои мысли вокруг тебя, Проперция. Они работают над тобой, и их собственное не знающее покоя пламя мучит их!"

Ее черные косы обрамляли бледную руку. Ее губы касались руки, искусной и беспомощной, сильной и все же сломленной.

* * *

В лабиринте узких улиц перед ней иногда вдруг белой угрозой вставала женщина, вонзавшая кинжал себе в грудь. Однажды, она, ослабевшая, близкая к потере сознания, остановилась перед какой-то маленькой церковью. На двери висела гирлянда пестрых бумажных цветов. Она вошла отдохнуть. Внутри было светло, пахло цветами. Орган играл что-то ясное и спокойное. Герцогиня почувствовала себя спасенной; она вспомнила, как глупо, бесцельно, жадно и бессмысленно терзал находящийся за этими стенами мир свои жертвы. Прихожане преклоняли колени и не шевелились. С сияющими глазами, дрожа от тихой радости, подносил к губам чашу старый священник.

"Я никогда не забуду, -- думала герцогиня, очутившись опять на улице, - что в храме, в котором я живу, стоит алтарь Минервы. Страсть, носившая чуждые черты, вытеснила из него Проперцию и столкнула ее с высоких ступеней, о которые разбиваются волны непосвященного народа. Она погибла: я не последую за ней.

Тяжелые бронзовые ворота встретят тех, кто кричит и кощунствует за ними, неумолимым молчанием масок, которыми они покрыты. Я брожу по каменным плитам цвета совиных глаз. Мимоходом я извлекаю звук из большой золотой лиры, прислоненной к статуе богини. На курильницах у ее ног я раскладываю травы. Я вешаю между колоннами тяжелые венки. Запястья на моих руках соскальзывают к плечам..."

Эти картины рисовались ей под арками, во дворе дворца дождей, где она часто наслаждалась тенью. Напротив гигантской лестницы, в конце ведущего от площади прохода, в нише бокового фасада стояла статуя, изображавшая женщину. Каждый раз, как герцогиня сворачивала за угол, она выступала навстречу ей, нагая и черная, и протягивала руку, точно желая притянуть к себе подругу.

"Какие странные товарищи вы мне, статуи, -- размышляла герцогиня. -- Какую тайну скрываешь ты, искусство! Не последняя ли я хрупкая дочь предков, которые были слишком сильны? Предки! Разве они не предупредили меня давно во всем, подобно забытым снам, более прекрасным, чем все, что нам хотелось бы свершить? Они воздвигли города, покорили народы, завладели берегами, основали династии, укрепили государства: могу ли я даже мыслью обнять во всей ее полноте жизнь одного из Асси?.. Но она вдруг становится моей во всей своей полноте, когда эта статуя у гигантской лестницы протягивает мне руку, как сестре.

Их образы завладевают моей душой: я становлюсь, как они, надменной и властной. Я начинаю жить расточительно, не останавливаясь ни перед чем. Вдруг передо мной открывается изваянный лес этого двора. Точно терновая изгородь расступается перед этим волшебным замком. Вдоль всего ряда лоджий волнуются каменные листья, цветы, корзины с плодами: они шевелятся под потоком гордых голосов тех, кто стоит в окнах. По гигантской лестнице медленно, со звоном и шелестом, спускаются люди: они оборачиваются в мою сторону, они знают меня!"

Она отправлялась на площадь Св. Марка, пустынно томившуюся под тяжестью полудня. Аркады прокураторов окружали ее пышность, и словно корона на ее горячих подушках, ослепительная и священная, лежала церковь. Ее сказочные формы стремились ввысь, яркие до одурения. Сотни драгоценных камней сверкали, безумно-роскошные и жестокие. Ангелы на верхнем своде касались золотыми крыльями горящей синевы.

Из дворца дождей, между короткими, толстыми колоннами, которые покинула герцогиня, вышел человек в остроконечной красной шапке, с золотой повязкой на лбу; на плечах у него был длинный плащ, весь из золота. Рядом с ним шла женщина в золотой парче, с крупным сказочным жемчугом на пышной шее и спадавшей до самых ног золотой цепью вокруг талии. Ее окружали мужчины, одни в пурпурных одеждах, другие пестро разодетые, точно павлины. Ее шлейф несли стройные юноши с гладкими желтыми волосами, закрывавшими уши, с бархатным обручем на голове, с маленьким передником вокруг бедер; в их полузакрытых глазах светилась гордость собственным целомудрием. Показались сопровождавшие дарохранительницу епископы в своих жестких далматиках с расписными золотыми краями. И купцы с суровыми и набожными лицами. И маленькие обезьяны, одетые в ярко-красное, на неуклюжих страусах. И женщины с диадемами в пушистых золотых волосах, струившихся по черным одеждам. Они тщательно складывали ладонями вместе свои маленькие бледные руки.

Они шли по площади. Складки тяжелых облачений едва шевелились, шаги пажей были слишком легки, чтобы их можно было услышать. Они исчезли в преломившемся стократ солнечном луче.

Теперь приблизились другие, мелкими, торопливыми шагами, с шелестом, шумом, жестами, с лавровыми венками на коротких волосах, уверенные в своей грации и силе. Их пальцы, сильные и тонкие, играли

рукою меча, точно перебирали струны гитары, и лепили в воздухе вырывавшиеся слова, точно воск. Насмешливыми и дикими губами, окруженными рыжими шрамами, они произносили стихи. И им отвечали темноглазые женщины в белых камчатных, затканых золотом платьях, с рыжими локонами, блистающими лбами и нежными ланитами, -- а их сверкающие, как перламутр, груди, блистали над корсажами из горностая. Их руки с голубыми жилками, тяжелые от колец, ласкали головы борзых собак. Они остановились, -- и вдоль их серебристо-белых, звенящих драгоценностями рядов, сквозь придворный штат из богинь и фей, медленно прошел в черном плаще и черном берете седеющий, с усталыми чертами, император.

И разом при виде старика, сопровождавшего императора, богини преобразились в земных покорных женщин. Они знали: это с его кисти упало то пятно на императорскую руку, которая вознесла его. И они думали о часах пытки на деревянных террасах высоко над дворцами, где они сушили на палящем солнце золотую краску в своих волосах; о тревожных совещаниях с знаменитым аптекарем, что надо делать для красивой шеи, что -- для красивого живота, что -- для красивой груди; и, наконец, о страшной и блаженной минуте, когда они сбрасывали перед старцем у мольберта свои пышные одежды. У самой гордой из них еще содрогалось под богатым одеянием тело при воспоминании о неумолимом взгляде, которым он исследовал его, когда оно было нагим... Но он прошел мимо, - и ее тело объял теплый трепет, как будто его снова ласкали звуки органа, на котором играл возлюбленный, в то время, как оно было нагим.

И они двинулись дальше, снова богини, окруженные кривыми саблями и опахалами гигантов-негров в желтом шелку. За ними шли нежные отроки в сверкающих одеждах; их хрупкие члены ясно обозначались под мягкими, расписными тканями, широкие рукава придерживались золотыми запястьями, красные шапки были надеты набекрень, а волосы под ними были связаны шелковыми шнурами. Вперемежку с ними, со звоном и мрачным блеском, шли закованные в панцири воины, и светлые юноши казались слитыми с ними, как тело с железом.

Они прошли дальше; их колонны поглотило яркое солнце. Тогда приблизился еще один, -- воин, весь в алом бархате. С золотой пуговицы на левом плече ниспадал плащ. На золотой груди грозила и кричала Медуза. Из-под золотого шлема выбивались кудри. Шлем был остроконечный, увитый арабесками и украшенный серебряным грифом.

Герцогиня ждала в узкой тени колонны, далеко оттуда, в конце площади. Она сделала два шага и вышла на свет. Вдруг далекий воин повернул к ней свое страшное лицо. Они узнали друг друга -- Сансоне Асси, кондотьер республики, и его правнучка Виоланта. Он любил ее; у нее было то, чего он требовал от женщин: созревшее тело и ум, полный ясно очерченных образов. Она могла описать ему заранее картину -- напоенную красками картину триумфа в память его победы над городом, которым он зверски овладел после многолетних хитростей. В античном шествии, где он был

Марсом, она могла участвовать в качестве Афины Паллады, в шлеме и с дротиком.

Ей было тогда тридцать лет, и она вспомнила один день из того времени, когда ей был двадцать один год: она стояла на балконе палаццо Асси, на Пиацца Колонна в Заре, и смотрела на процессию солдат, священников, придворных, народа; на хоругви, красные балдахины, сверкающие мундиры и крылья ангелов на детских плечах. Замер последний молитвенный ропот, -- и вдруг все зашумело, заликовало, и все шпаги приветствовали ее -- точно серебряная птица пронеслась в полуденном свете.

Теперь, в полдень другого дня, по площади Св. Марка прошел Сансоне Асси, который умер стоя, истекая кровью, со стихом Горация на устах. Он приветствовал ее своей длинной шпагой в красных, чеканных ножнах. Над ним вздымались и ржали медные кони, на церковном портале, -- еще несколько мгновений, и он скрылся из глаз герцогини.

Его место заняла новая толпа больших детей, хитрых и остроумных, как Труфальдино, и простодушно неловких, как Пульчинелло; ленивых и обжорливых, как Тарталья, и хвастливых, как Спавенто. Они чванно выступали в своих кружевах, затканых халатах, придворных одеждах -- попеременно с пестрыми греками, турками и левантинцами, и улыбаясь и щебеча, дурачились с женщинами, игравшими в прятки под домино, и смешными безжизненными масками с накрашенными губами и веками. Хлопали веера, журчал смех, площадь была покрыта будками шарлатанов, подмостками театров марионеток и кафедрами проповедующих монахов. Под каждой аркой судебных зданий манило кафе, и жужжал игорный зал. Накрашенные аббаты, старые и молодые франты, любители фараона и должностные лица, сыпавшие двусмысленными стишками, -- все стремились туда с мальчишеским шумом. Маклеры любви предлагали им аристократических дам, а кроткие, прекрасные и услужливые куртизанки -- себя самих. Они увлекали мимолетных возлюбленных под увенчанные мраморными статуями аркады; там можно было увидеть больше женщин на земле, чем на ногах. Они ждали у дворца дожей патриция; выходявшего из совета. Статные аббатиссы, спорили о чести прислать в любовницы новому нунцию юную монахиню из своего монастыря.

Мимо прошли господин с дамой. У дамы была молочно-белая кожа, и точно нарисованные пастелью, лежали в мягком углублении между плечом и грудью и в пепельно-белокурых волосах бледно-лиловые ленты. Она плутовски показала герцогине черную мушку в углу своего бледного ротика. Напудренный кавалер в атласе и розах с улыбкой кивнул своей последней родственнице: секунда -- и Пьерлуиджи Асси со своей дамой танцующей походкой пронеслись мимо. Они любили друг друга: украшенная розами гондола ждала их за причудливыми арабесками того храма у подножия розовых ступеней в шелковой воде, под сиянием неба, золотисто-голубой балдахин которого охранял празднества на этом мраморном острове.

Но все они, так безумно, жадно и фантастично гонявшиеся за каждой прихотью и каждой химерой, исчезли и рассыпались, как рассыпается дождь искр фейерверка в конце всех празднеств. От них ничего не осталось, они растратили все: последнее золото, последнюю силу, последний каприз и последнюю любовь.

* * *

Герцогиня возвращалась одна по гулкому, упиравшемуся в небесный свод праздничному залу; он знойно блестел. Мозаики св. Марка бурно искрились. Восточные грезы, превратившиеся в камень, в тяжелые серебряные своды и инкрустации из малахита, порфира, золота и эмали, сверкали, как кинжалы. А длинные колоннады, точно светлые завоеватели-язычники, с благородным жестом шли навстречу тайне и ужасу, надвигавшимся из Византии. Герцогиня думала:

"Старые декорации остались. И об отзвучавшей драме, которую вы играли в них, вы шепнули словечко мне. Вы пришли ко мне, вы признали меня своей внучкой и вооружили и украсили меня силой и красотой мраморных и медных образов, которые остались, когда вы исчезли. Они поднимают меня к себе, на свои постаменты, как свою сестру. Я одна из ваших статуй, которая вдруг открыла глаза и понимает все, что понимали только вы. Мне принадлежит это исчезнувшее царство, я заселю его вновь. Для меня несется сюда через мертвые столетия толпа ваших старых грез и падает к моим ногам".

На Пиаццетте она села в гондолу.

"Вы наполнили мое тело своей могучей жизнью! Я чувствую, как я сама неистощимо переливаюсь во все, что вижу. По моему велению на этих берегах, опоясанных дворцами, встают сверкающие мосты. Всех прелестных девушек, которые в своих зеленых или золотых туфлях спешат по ним, я шлю из моего сердца. Мне кажется, что я сама соткала их цветные корсажи; их стройные, мягкие и пушистые затылки вылепила моя рука, и белокурые волосы над ними рассыпала я, и я прикрепила букеты фиалок к бледным шеям брюнеток. Обоженная глина мужских лиц -- дело моих рук".

"За той ослепительной, закрытой зелеными кустами садовой террасой движется молодая дама; ее платье переливается всеми красками летнего полудня. Ее белая тюлевая шаль тихо и воздушно развевается вокруг ее плеч. Она ловка, грациозна, сильна, легка и оставляет за собой везде улыбку и мысль о счастье. Это я поставила ее туда, на этот сияющий берег, чтобы земля стала еще прекраснее, -- богатая земля, с ликованием рвущаяся из меня".

"Мановение моей руки поставило на верхушку того треугольника пышных мраморных зданий Фортуну. Она отражается в светлых волнах и ее образ плывет по волнам в самые отдаленные каналы -- образ Фортуны".

"Когда я вступаю в строгий храм, сверкающие ступени которого уводят меня из лагуны, его светлая полная радости галерея вдруг освещает все, что

спало во мне. Я с трепетом, в напряжении и ликование встречи, иду по волшебному лесу колонн, где живет в плену красота".

"Далеко оттуда, у тенистой стены, в глубине ризницы, на красной Камчатке плоской трибуны, в голубом широком плаще сидит Мадонна. Над ней гаснет золото купола. Под белым головным платком светится бледное лицо, маленькое, круглое, надменно поднятое кверху. Полуоткрытые глаза не выдают ее гордых страданий. Она смотрит в сторону, поверх человечества, которое так грубо. Губы ее узки и тесно сомкнуты... но меня они целовали... Я часто сама бываю этой Мадонной. Часто я ангел, который у ног другой тихой царицы, в светлом зале статуй, играет на виоле, склонив голову, робко углубленный, почти страдающий от счастья, что может воспевать ее".

"Я гений на могиле великого скульптора, гений с мягкими плечами, широкой юношеской грудью, узкими бедрами и длинными, изящными ногами, -- и я белокурая, белая, полная мученица, прическа которой исчезает под нитями жемчуга; с нее срывают парчовое платье, и она прячет голову между поднятыми, пышными, изнеженными плечами. И я же -- полунагая, в красной юбочке, негритянка, приставляющая кинжал к ее голубиному горлу".

"Я дышу во всех этих великолепно изогнутых, пышных, янтарных нагих телах женщин, которые лежат на мягких тканях и звездами венчают чело друг другу, -- и других, в золотых одеждах, белых, мощных и недоступных, которые восседают на тронах в серебряной синеве на потолках пышных зал. Народы с изумлением смотрят на них, и их окружают создания с прозрачной кожей и розовыми пальцами: создания сладострастного света".

"И я горю в кровавых распятиях, где ленивые брюнетки, с зелеными и кровавыми молниями драгоценных камней в крашенных белокурых волосах, в странных и соблазнительных позах толпятся вокруг древа господней пытки. На огромном белом коне возвышается гигант; бронзовые латы сжимают его нагое тело. Складки мясистого живота выступают из-под них. Одетые в ярко-красные ландскнехты с карикатурным усердием играют в кости. Какой-то человек в черных доспехах поднимает красные знамена к мрачному грозовому небу. Зловеще светлые и пестрые на фоне темных туч сидят на далеких масличных холмах маленькие старики и женщины из чуждых стран. И муки этого креста среди сладострастия резких, тяжелых, лихорадочных ночных красок -- только вызванный опиумом сон этих старцев и их голубых, желтых, лиловых одалисок".

"Моя кровь мягко и сильно пульсирует в тихо дышащей женщине, положившей голову на руку. Дивные волны ее членов покоятся среди волн тихих холмов. Ее тело переливается во мне в молчаливую, теплую страну".

"Тут же раздаются глухие, мягкие звуки флейты. У пруда, под высокими, тихими деревьями, нагая, мечтательная язычница прикладывает ребенка к своей груди. Суровый молодой пастух бодрствует со своим посохом. Моя кровь обращается в деревьях и в материнской груди. Она журчит источником внутри этих плодородных холмов. Она поет в глухих и мягких звуках флейты".

"Яркие лучи на затылках пышных красавиц -- я чувствую, как они скользят по моему телу. И я дрожу с робкой маленькой Психеей, твердые маленькие груди которой пробуравливают полотно, и которая прячет лицо в тени".

"Вы все, растения и дети, неутомимые воины и мягкие любители покоя, флейты и кинжалы, гетеры и мадонны, -- вы, что парите над умоляющими руками одинокого, и вы, что живете при ярком свете и на глазах толпы непонимающих: вы тысяча и один мой день. Мои часы, проносящиеся на золотой колеснице, привозят с собой всех вас. В моей жизни, которую благословляет искусство, вы расцветаете. Я знаю, опьянение невероятным -- совершенством. Я изливаюсь только в совершенное".

"Что могло бы небо дать мне еще? Искусство делает меня недвижимой, созерцающей, медлительной. Богиня вкладывает мне в руки мою жизнь, как драгоценную вазу, отливающую янтарным блеском, прозрачную, прохладную, покрытую фигурами. Я держу ее в руках, мои пальцы скользят вдоль профилей фигур. Менада шатается в упоении, нимфа смеется и отблеск их вечной красоты падает на смертную руку".

"О, я буду держать спокойными руками тихую вазу моей жизни, чтобы никакое оскорбление, никакое пятно и навязчивое дыхание мрачного мира не помutilи ее целомудренного блеска, -- до часа, когда, благодарная и счастливая, вложу ее обратно в руку богини, которая дала мне ее: всегда неудовлетворенной, всегда чуждой, всегда окруженной оливковыми ветвями Паллады".

IV

Она держала свою жизнь в руках, ни разу не задрожавших, семь лет. Ее почти не знали. Она была ближайшей поверенной всего, что в Венеции спало в камне или сверкало несравненными красками. Для всего слабосильного и тщеславного, что суенилось вокруг, она оставалась чужой. Ее тесный круг состоял почти всегда из одних и тех же лиц, и никто из них не мог похвалиться, что ему был открыт доступ к сокровенному в ней. Она устраивала празднества, ее гости доставляли ей зрелища. Они оживляли и согревали ее дом; но между собой и герцогиней Асси они чувствовали нечто вроде освещенной рампы.

Но иногда она обращала сердечное слово к прибывшим издалека и уезжавшим на следующий день.

Она замечала на площади Св. Марка молодую девушку с севера, которая слонялась по ней, самоуверенная и беззаботная. Неделию спустя, она встречала ее на том же месте, со смущенным лицом и нерешительной походкой. А еще через неделю эта девушка стояла в конце площади и уже не улыбалась. Страх перед необъяснимым незаметно ложился на ее лицо.

Во дворе палаццо дожей, перед гигантской лестницей, она иногда встречала трех или четырех молодых англичанок. Вместо жалкого путеводителя они приносили с собой дорогую, тяжелую книгу. Они откидывали позолоченную пергаментную обложку; одна читала, а другие смотрели вверх, на гигантов. Пестрые шелковые шали спадали с их белых

полотняных летних шляп на желтые локоны, и чувство делало их лица почти красивыми.

Герцогиня посылала кого-нибудь проследить, где они живут; затем она приглашала их. Потом Мортель и старик Долан подсмеивались над робкими фигурами, которые, широко раскрыв глаза, молча сидели на кончиках стульев. Герцогиня возражала:

-- Я знаю одну аристократию: аристократию чувства. Плебеями я называю тех, кто чувствует безобразно. Поставьте какого-нибудь незнакомца перед Мадонной Беллини; вы увидите, к какому классу он принадлежит.

Перед Мадонной Фрари она встретила однажды молодую женщину с тринадцатилетним мальчиком. Она была худощава и одета просто и изящно; на ее прозрачно-бледном лице по обе стороны заострившегося носа горели два пятна. Блестящие черные волосы наполовину закрывали уши, в которых висели крупные, прозрачные брильянты. На руках не было никаких украшений; они были бледны и слишком длинные, как руки святой. Подобно им, они жаловались. И они прикасались к ребенку с таким же пылом и так же бессильно, как женщина на картине к своему. Казалось, над незнакомкой гаснет золото того же купола, и голубой широкий плащ Мадонны покрывает и ее. Чем дольше смотрела она в лицо Мадонны, тем более похожей становилась на нее: надменной, полной ревниво оберегаемых страданий, с узкими, крепко сомкнутыми губами... Герцогине страстно захотелось чтобы они открылись для нее... У мальчика были полудлинные пепельно-белокурые волосы, откинута со лба крупными локонами. Между своевольными короткими губами сверкала влажная белая полоска. Рот был такой смелый, что имел почти глупое выражение. Глаза, голубые и пламенные, бросали быстрые взгляды из-под радостно изумленных бровей, точно сквозь высокие, узкие триумфальные арки. Он был строен и худощав. Одна из его рук, со странно тонкими суставами, лежала на спине, сжатая в кулак. Одна из изящных ног была выставлена вперед в воинственной и все же несвободной позе. На нем была черная бархатная куртка с широким белым воротником, покрывавшим плечи. Этот наряд производил впечатление старинного костюма художников в уменьшенном виде. Но поверх него мальчик пристегнул саблю.

Герцогиня стояла сзади него. Он обернулся и посмотрел на нее с робким изумлением. Затем поспешно отвернулся. Несколько минут он стоял совершенно спокойно. Только его голова несколько раз дергалась в сторону. Наконец, он опять быстро и решительно повернул к ней лицо. Она прочла на нем, что успела стать для него событием -- быть может, чудесным. В глазах мальчика молниями пробежали видения волшебных приключений. Она подумала о Сан-Бакко в его благороднейшие, далекие от всякой житейской мудрости моменты. Вспомнились люди и в Заре, которых опасности на службе у нее делали на несколько часов свободными и прекрасными.

"Тем, -- думала она, -- нужны были революции и войны, чтобы зажечь в них мимолетное воодушевление. Насколько отраднее стоять за этим

мальчиком. Он еще не знает, что значит отказаться от высших надежд. Он как будто вот-вот вспомнит, для чего он рожден, -- стоит мне улыбнуться ему". -- Она сделала это. Он покраснел и отвернулся. Она вышла. Мать, не отрываясь, смотрела на Мадонну и ничего не заметила.

Герцогиня встречала эту новую парочку почти ежедневно: в художественных магазинах, в церквях или на парохоме в Большом канале. У матери было все то же замкнутое и сосредоточенное выражение лица. Она крепко держала мальчика за руку и не выпускала ее даже тогда, когда они сидели рядом на парохоме. Только иногда, когда над водой мимо них скользила готическая загадка или мавританская сказочная греза какого-нибудь дворца, она указывала на нее своим худым, заостренным пальцем и что-то говорила мальчику на ухо.

Он каждый раз ждал появления герцогини. Он был невнимателен ко всей нарисованной и изваянной красоте, на которую указывала ему мать, до тех пор, пока не находил чудесную незнакомку. Он кланялся ей молча, с торжественной гордостью и всегда краснея.

Однажды, во время поездки в Лидо, герцогиня уронила книгу. Мальчик сильно побледнел; в нем происходила мучительная борьба: он стыдился предстоящего смелого поступка и еще больше стыдился своей нерешительности. Второпях он зацепился ногой за платье матери. Он чуть не опоздал: один из мужчин, бывших с герцогиней, уже нагнулся за книгой. Она шепнула ему: "Оставьте!" Мальчик поднял ее. Он разгладил смявшиеся листы, не поднимая от них глаз. Его длинные ресницы бросали узорчатую тень на мягкую щеку. Герцогиня заметила голубую жилку над его тонкой переносицей, ее поразило, как слаба и бела была его шея. Она взяла книгу.

-- Благодарю тебя, мой милый, -- сказала она, как будто он принадлежал к сопровождавшим ее друзьям. -- Ты можешь прочесть это?

Это были венецианские сонеты Платена. "Да", -- ответил он, вытаскивая из кармана другую немецкую книгу. Она была раскрыта на новой главе. Мальчик протянул ее герцогине; она прочла: "Корсар похищает принцессу. Удастся ли им пробраться под пушками крейсера?"

Он побежал обратно к матери, которая уже искала его. Она нахмурила брови и мягко, но крепко схватила его за руку. Но затем она посмотрела туда, куда он указывал ей взглядом. И вдруг она выпустила мальчика и сделала движение своей говорящей рукой: "К этой даме ты можешь идти. Иди же!"

Но он пошел вперед, на нос парохомы, где было пусто, и уселся на ветру. Герцогиня видела его профиль с короткой губой, слегка вздернутым носом и освещенным солнцем круглым локоном, выбивавшимся из-под шапки; задорно и ясно выделялся этот профиль на летнем воздухе, точно вырезанный на большой жемчужине. Ей было легко прочесть на его ясном челе все фантазии и игры, которые теперь унесли его далеко отсюда. "Он корсар, -- поняла она, -- и лавирует с принцессой под пушками крейсера". Потом она подумала:

"Возможно, что и я невольно принимаю участие в игре в качестве принцессы. Кто может знать, каким невероятным приключением он станет в душе такого мальчика? И, право, мне почти хочется пойти и совершенно серьезно принять участие в игре... Как горд этот мальчик! Его взгляды прорезывают солнечные лучи, как ласточки. Радуюсь своему будущему, проносятся они по лагуне, по этой навсегда отрезанной от моря полосе воды".

* * *

Наконец, она встретила обоих у Якобуса, в его мастерской на Кампо Сан Поло. Кроме них, не было никого; художник познакомил ее с синьорой Джиной Деграндис и ее сыном Джиованни.

-- Как поживаешь? -- спросила герцогиня мальчика.

-- Мы друзья, -- пояснила она, обращаясь к матери с просьбой разрешить эту дружбу. Синьора Деграндис была безмерно счастлива. Она не хотела верить доброте этой прекрасной незнакомой женщины. Она робко протянула руку и лишь мало-помалу овладела собой и разговорилась; ее застенчивая грация указывала на тяжелое и одинокое прошлое. "Кто она?" -- спросила себя герцогиня после первых ее слов, перебирая в памяти образы прежних дней.

Якобус обвил рукой шею мальчика и подвел его к свежему полотну. "Смотри хорошенько", -- сказал он и сильными штрихами набросал несколько голов.

-- Кто это?

-- Я.

-- А это?

-- Мама.

Мать стояла сзади, испуганно улыбаясь.

-- Есть ли у него талант?

Якобус весело засмеялся.

-- Со мной у него будет талант!

И он играл тонкой рукой мальчика.

-- Нино, будь внимателен, -- шепнула мать, -- это твой первый урок.

Ее голос прерывался от тайного благоговения.

-- Великий художник принимает участие в тебе.

-- Пожалуйста! Мы не тщеславны, правда, дружок, -- воскликнул Якобус, набрасывая углем такую забавную рожу, что мальчик громко расхохотался. Герцогиня с любовью и жалостью смотрела на мать. Она думала:

"Если бы этот юный Иоанн не имел такой наружности, как один из его флорентинских братьев четыреста лет тому назад, и если бы у него не было этого открытого взгляда, -- была ли бы тогда речь о его таланте? Как он стоит, заложив руки за спину? У него совершенно нет желания взять карандаш в руки. Он с любопытством и удивлением смотрит, какие фокусы проделывает знаменитый художник".

Синьора Деграндис думала:

"Какая милая эта герцогиня Асси, -- какая милая и какая красавица! С тех пор, как она здесь, маэстро находит у моего сына талант. Она как будто принесла его с собой!"

Мальчик указал головой на герцогиню.

-- Почему вы не рисуете и эту даму?

-- Я нарисовал ее давно, -- ответил Якобус.

-- La duchesse Pensee, -- сказала синьора Деграндис с таким горячим восхищением, как будто герцогиня сама была творением руки мастера. Блестящие глаза бледной женщины, без усталости вперились в резные канделябры, выложенные мозаикой ящики и затканые сложными рисунками материи, которые лежали на них, темно-красные и трагичные, точно пропитанные кровью старых королей-героев. Она боролась с каждой из картин, прежде чем та отпускала ее, и спешила к следующей в лихорадочной тревоге, как бы не упустить чего-нибудь прекрасного. Ею овладел припадок кашля. Она при помощи носового платка насильно заглушила его и с еще влажными глазами вернулась к здоровым, не знающим угрозы смерти вещам. "Bello!" -- сказала она, и это слово обняло мир.

Она призналась герцогине, что не знает в Венеции ни одного человека. Она вращалась только среди произведений искусства, и только ради друзей, которые у нее были среди них, она жила в этом городе.

-- И вы хотите добиться от картин и статуй, чтобы они стали друзьями и вашему сыну, не правда ли, синьора Джина? Я сама хотела бы вкрасься в число этих тихих друзей. Вы придете оба ко мне? Обещайте мне это.

Джина обещала. Она с первой же минуты вся отдалась новой подруге. Она разочаровалась в людях, создалась она; ее бедная тоска по доверию сегодня впервые отважилась приоткрыть один глаз.

-- Ах! Я хотела бы ограждать Нино от их насилий. Пусть каждое из его представлений будет прекрасной картиной, каждая из его мыслей ведет в царство искусства. Как вы думаете, это удастся, герцогиня?

Герцогиня, не отвечая, наблюдала, как мальчик смотрел в окно, поверх руки художника. Его глаза были ясны и открыты навстречу жизни; его слабую шею прорезывали голубоватые линии.

-- И потом он дитя больной матери, -- тихо сказала Джина.

Герцогиня все еще разглядывала его. Вдруг она не могла больше сдерживаться и горячо потребовала:

-- Позвольте ему жить, жить, сколько в его силах.

-- Но почему бы и не в качестве художника, -- прибавила она. -- Нино, не правда ли, ты хочешь стать художником. Как счастлив будешь ты, когда твои творения пронесут твое имя по всему свету.

Нино с удивлением посмотрел на нее.

-- Я хотел бы лучше сам пронести его по всему свету, -- возразил он, покраснев.

-- А бессмертие, мой милый, что скажешь ты о нем?

Мальчик гордо покачивался на каблуках:

-- Странствующие рыцари все бессмертны.

-- Bravo! -- воскликнул Якобус. -- Вот тебе моя рука. Мы оба из дома Quichotte de la Mancha... Бессмертие! -- повторил он со смехом, в котором чувствовалась горечь. Он вложил руку Нино в свою и нагнулся к нему в своем камзоле времен Ренессанса -- бархатном, с шелковыми рукавами. На шее у него было белое жабо, на носу -- очки. Нагнув голову, он смотрел поверх них, сурово и испытываяюще и всегда неудовлетворенно. Седеющий вихор свешивался ему на лоб. Герцогиня, пораженная, спросила себя, не таким ли будет и Нино в сорок лет. У нее даже явилось желание, чтобы это было так. Затем она заметила, что у художника и у мальчика была одинаковая короткая, своевольная верхняя губа; это наблюдение почти испугало ее.

Мать и сын простились. Якобус попросил герцогиню:

-- Не оставляйте меня теперь одного. Вы говорили о бессмертии и напомнили мне этим мои старые глупости.

-- Какие глупости? -- спросила она, опускаясь в источенное червями кресло с ярко вычищенными ручками и благородными формами.

-- Прежде всего, глупость -- вздумать продолжать могучую грезу тех, кто жили за четыреста лет до нас.

Он ходил перед ней взад и вперед.

-- Раз я вообразил, что одно из их ощущений перелилось в мою кисть: это было тогда, когда я написал Палладу Ботичелли. Теперь я сомневаюсь: это одно мгновение величия было так давно, я хотел бы видеть его подкрепленным вторым таким же.

-- Будьте сильны! Считайте себя бессмертным!

-- Ах! Ведь бессмертие -- награда за то, что еще сильнее нас: за творение, превосходящее нашу жизнь и возвышающееся над ее вершиной. Быть может, это всего какая-нибудь одна статуэтка, на которой мы пишем свое имя с такой гордостью, что оно как будто мечет искры. Много времени спустя, женщина, умеющая чувствовать красоту, возьмет в заостренные пальцы маленькую, старую, отысканную где-то бронзовую фигуру, будет ласкать стройные формы и, смахнув пыль, найдет уже забытое имя и произнесет его. В образе этой женщины я представляю себе бессмертие.

-- Тем лучше, если вы заранее знаете, какой вид оно имеет.

-- Что из того? Эта женщина, чувствующая все прекрасное, никогда не будет вертеть между пальцами мою бедную статуэтку. С тех пор, как я узнал ее в Риме, она становилась все холоднее и недоступнее. Ее кожа с тех пор подернулась серебром, как персик в стакане воды. В ее глазах колеблется тихое пламя. Ее красота сделалась более зрелой и при этом более холодной и спокойной. Ноздри ее тонкого, большого носа менее подвижны, ее губы резче обрисованы и полнее. Теперь она вполне Паллада, какой я написал ее заранее в среднем из ее залов, -- только богиня. В Риме она была человечнее.

-- Я была человечнее?

-- Даже в Венеции вы вначале были человечнее. Тогда мне предстояло дешевое удовольствие с прекрасной искательницей приключений. Я

противился, вы советовали мне быстро покончить с этим; вы спросили меня: "Уж не любите ли вы меня?.." Это правда, что вы спросили так?

-- Конечно, и вы совершенно успокоили меня, рассказав мне историю о душе в парке. Вы любите только души, -- я же образ, картина, как леди Олимпия. А картины вы не любите; вы только пишете их.

-- Но вас, герцогиня, я пишу слишком часто. Я сознался вам уже тогда, что вы все снова волнуете и преследуете меня. Уже тогда у меня были сомнения. Теперь я давно знаю, что ваш образ требует не только моего полотна... Да, это было заблуждение, когда я уверял, что не люблю вас!

-- Это говорите вы?

Она колебалась, смущенная и недовольная. Затем попробовала обратить все в шутку.

-- Я благодарна вам, что вы так долго поддерживали это заблуждение. Теперь в вознаграждение я выслушала ваше признание. Ведь мне тридцать девять лет, а вам...

-- Сорок четыре. И вы думаете, что теперь уже можно спокойно беседовать, потому что время упущено? Но вы не принимаете во внимание, что я с тех пор почти не жил. Мне в сущности еще только тридцать пять лет, несмотря на мои седые волосы. Моя жизнь оставалась с тех пор незаполненной и, если мне позволено сознаться в этом, ждала вас.

-- Вы забываете Клелию.

-- Вы ставите мне в укор Клелию? -- с досадой воскликнул он, покраснев. Она склонила голову набок и смотрела ему в глаза, неуверенно улыбаясь.

Он сказал:

-- Теперь вы нечестны! Будьте честны, не притворяйтесь, что считаете эту нелепую Клелию возражением против моей любви к вам!

-- Ведь Клелия вышла за господина де Мортейля только для того, чтобы сейчас же броситься в объятия своего знаменитого художника.

-- Это так. Я для Клелии только художник. Она становится между мной и другими женщинами и говорит: "Вот он. Если вы хотите получить что-нибудь от него, обращайтесь ко мне!" Она пользуется мною для удовлетворения своей жажды власти. Она почти не любит меня.

-- Говорят, что она производит выбор среди дам, желающих заказать вам свой портрет.

-- Я не отрицаю этого. Я стал слабым с тех пор, как живу чересчур близко к вам, герцогиня, -- слишком слабым от всего этого долгого, молчаливого ожидания. Прежде я обошелся бы с такой бедной Клелией иначе. Теперь я терплю ее глупую тиранию. Все-таки это своего рода заботливость, которую кто-нибудь оказывает мне... Она регулирует мое рабочее время и мои продажи -- все. Она безмерно горда моей славой. К слову сказать, она у меня довольно сомнительная.

-- Синьора Деграндис только что указывала своему сыну на вас, как на великого художника.

-- Кроткая мечтательница! Я не великий художник. Я великий дамский портретист. Это нечто иное... Я не принадлежу к трем-четырем рассеянными по Европе гигантам! Я не принадлежу даже к большому числу тех, которых

взмах соревнования приближает иногда к вершине. Оттого, что я не мог оторваться от вас, герцогиня, я сделался хорошо оплачиваемым специалистом в провинциальном городе.

Он остановился, выпрямившись в своем старинном широком костюме, и гневным и смелым жестом указал на стены.

-- Посмотрите сюда. Между старыми шедеврами висят мои картины, и при желании вы их почти не отличите от первых. А меня самого, как я сейчас стою здесь, вы можете по желанию принять за памятник Моретто в Брешии или великого Паоло на его родине. Ха-ха! И этот маскарад дает мне стиль, мой стиль, которым так восхищаются! Я нашел свой собственный жанр, про себя я называю его "истерическим Ренессансом!" Современное убожество и извращение я переряжаю и прикрашиваю с такой уверенной ловкостью, что кажется, будто и они -- часть полной жизни золотого века. Их убожество не возбуждает отвращения, а, наоборот, щекочет. Вот мое искусство!

Он говорил все язвительнее. Его короткие, красные губы съежились в гримасу. Он наслаждался своим самобичеванием.

-- Я наполняю все задние планы темным золотом. Фигуры выступают из него на искусственный свет. Говорят, что в них есть что-то, напоминающее старых мастеров. Я придаю перламутровый блеск их разрушенным временем или уродливым лицам и их одеждам, которые так же точно взяты на прокат, как мои...

-- Или как вот эти, -- горько прибавил, почти вскрикнул он, и оборвал.

Портьера в соседнюю комнату медленно раздвинулась, и бесшумно вошел ребенок, маленькая девочка, в тяжелом сборчатом платье из белой Камчатки, с кружевами на плечах и руках, крупным жемчугом на шее и кистях рук и круглым, вышитым чепчиком на светлой головке. Она стояла перед коричневой гардиной; а с высоты завешенного снизу окна на нее падал перламутровый свет. Она грациозно сложила на желудке слабые белые ручки. Мягкое лицо, обрамленное светлыми шелковистыми волосами, казалось странно серым. Но губы были толстые и красные. А большие темные глаза маленького создания глядели прямо перед собой, спокойно, без любви к кому бы то ни было.

-- Да ведь это одна из ваших картин! -- воскликнула герцогиня, -- ее знает весь свет... Ты маленькая Линда? -- спросила она.

Девочка мелкими шажками подошла к ней и остановилась у ее ног в той же милой и непринужденной позе. Герцогиня поцеловала ее в глаз; она даже не моргнула.

-- Ты маленькая Линда?

-- Я фрейлейн фон Гальм, -- объявила она тонким, высоким голосом. Якобус нежно и возбужденно засмеялся.

-- Венское дворянство из вежливости. Но она принимает его всерьез. Она воображает о моем величии, пожалуй, еще больше Клелии. Ее мать совсем в другом роде...

Он предвидел, что герцогиня задаст ему вопрос, и быстро продолжал:

-- Не добр ли я, что оставил этого ребенка у моей жены, когда мы разошлись, -- этого ребенка! Я вижу его каждый год только в течение нескольких дней, когда приезжаю в Вену. Но в этом году я попросил прислать ее сюда; в этом году я не еду к моей жене, -- нет, в этом году, наверное, нет!.. Что за острые розовые ноготки! -- пробормотал он, нагибаясь к сложенным ручкам. -- Отполированные и блестящие! Да -- да...

Он опустился на стул напротив герцогини, осторожно оперся подбородком о плечо девочки и заговорил, глядя герцогине в лицо.

-- Вообще-то все идет по заведенному порядку -- компромиссы, добывание денег. Но раз в году это личико читает мне новую проповедь. Оно напоминает мне о времени, когда я продолжал прерванную грезу старого мастера. Теперь я слепо подражаю причудам других, и мне не дано ничего знать об их душе... О, когда я чувствую трепет этих прохладных шелковых волосков у моего лба...

И он обхватил сзади повыше локтей обе руки малышки.

-- ...меня вдруг наполняет мятежная ненависть к бесполым искусительницам, которых моя ложь делает настоящими женщинами, -- рыжим, полным снобизма дамам, которых я учу бросать искоса пожирающие взгляды, -- к любопытным с томными глазами, которых моя кисть украшает клеймами величественного порока...

Его руки сжимали руки малышки моментами чересчур сильно. Она корчилась, но не издавала ни звука. Вдруг он выпустил ее и вскочил:

-- Весь разрисованный полусвет больных и искусственных женщин собирается со всех углов Европы сюда, к моей двери! Они жаждут своего художника и боятся его. Они приходят стыдливые, неуверенные, похотливые. В сущности, им хотелось бы сейчас же раздеться. Мое полотно для них -- простыня, на которой они должны растянуться нагими. А я, я забочусь о том, чтобы их лица расплывались от бледности и мягкости, утопая в белокурых локонах, которые я обвожу углем, когда краски высохнут. Глаза я делаю черными и одно веко немного более плотно сомкнутым, а складки на нем несколько более усталыми. Их красота, вызывающая желание во всей Европе, живет обманом моего искусства. Каждая из них знает это и ничего так не боится, как моего презрения. Их тщеславие требует, чтобы я обманывал и самого себя. Они не могут примириться с тем, чтобы исчезнуть из моей мастерской, просто, как отслужившие свое модели. Они хотят оставить в моей крови частицу себя самих. У каждой -- ах, это возмущает меня больше всего, -- у каждой хватает глупого бесстыдства хотеть быть любимой мной, мною, который и вообще-то только потому сделался дамским художником, что одна единственная, одна единственная не позволяет мне ничего другого, потому, что она заставляет меня ждать ее всю жизнь, в каждой полосе воды и в каждом куске стекла ловить ее отражение и всегда, всегда ждать, не придет ли она сама!

-- Да ведь это настоящий взрыв! -- пробормотала герцогиня. -- Опомнитесь!

Она сидела, не шевелясь. Девочка разняла ручки, оглянулась на отца и вернулась к даме, холодно удивляясь: "Почему же вы не любуетесь мной?". Герцогиня заметила, что девочка стоит перед ней, точно защита от мужчины. Она ласковым движением отодвинула ее в сторону.

-- Я люблю спокойствие, -- сказала она, -- у меня нет никакого желания обижаться. Поэтому я не буду смотреть на это, как на взрыв, а как на простое уклонение в сторону. О чем вы собственно говорили? О том, что вы дамский художник?

Он провел рукой по лбу и пробормотал:

-- Да... совершенно верно... дамский художник, то есть, нечто вроде куртизанки мужского пола... Послушайте, я припоминаю историю одной давно умершей носительницы радости. В прекраснейшее мгновение своей юности, когда она была еще целомудренна, она встретила одного благородного мужчину, которого никогда не могла забыть. Так как он исчез бесследно, она поехала в столицу и стала отдаваться всем за крупные суммы. Она сделалась знаменитостью, богатые туристы всего мира, которые к достопримечательностям относили также и женщин, проходили через ее спальню. Она думала, что, в конце концов придет же и тот, единственный. Но он не приходил. И за это она мстила остальным, обращаясь с ними с изысканной жестокостью, коварством и алчностью.

-- Это очень мило, -- сказала герцогиня, пожимая плечами. -- Но ей следовало принять в соображение, что благородный человек, конечно, не ходит к куртизанкам. Прежде, в прекраснейшее мгновение ее юности, когда она была еще целомудренна, -- другое дело.

Она вспомнила мальчика Нино и продолжало про себя:

-- Когда вы, мой милый, еще имели такой вид, как Нино.

Эта мысль вызвала в ней недовольство; она опять заговорила, сурово и откровенно:

-- Конечно, я знала, что вы любите меня, -- я знаю это уже семь лет. Ваши уверения тогда меня несколько не успокоили. Я позволила вам остаться вблизи себя, потому что была уверена в себе и считала вас таким же благоразумным, как и себя. Никто не знает лучше вас всей той святости искусства, которая нужна мне для моего счастья. Ведь вы сами поместили меня на потолке зала под видом зрелой и спокойной Паллады еще прежде, чем я имела на это право. Теперь, говорите вы, я стала ею в действительности... И ведь не захотите же вы теперь увидеть меня другой?.. Ведь не Венерой же? -- прибавила она, спокойно улыбаясь.

-- Венерой... -- беззвучно повторил он. Вдруг к его лицу прихлынула кровь. Он спрятал румянец за спиной девочки. Он обнял ее сзади и медленно провел по комнате до сундука с выпуклой крышкой. Он открыл шкатулку из слоновой кости и меди, стоявшую на нем, и погрузил в нее слабые руки девочки. Она серьезно и неторопливо вынула их; они были увешаны запястьями, обвиты жемчугом и сверкали огнем разноцветных камней. Якобус, выпрямившись, смотрел на ее игру, на усталую и чарующую игру холодного прелестного ребенка в камчатной ткани и

кружевах, так тяжело носившего свой забытый, воскрешенный во имя искусства пышный наряд. Его волнение улеглось, он обернулся и сказал:

-- Знаете, на что похоже это дитя? На семь лет, которые лежат за нами. Не дитя ли оно этих семи лет? Я хочу сказать -- поскольку оно несколько искусственно и герметически закупорено, постольку оно бесцельно покоится в себе, не предъявляя больших притязаний на будущее.

Он тихо проговорил это и замолчал, подавленный и хмурый. Он думал: "И при этом оно у меня даже не от тебя".

Герцогиня подумала с удивлением: -- "Но оно не от меня".

Вскоре она поднялась.

-- Я слышу голоса в передней. Моего ухода ждут.

Из страха оставить неблагоприятное впечатление, он принялся оживленно болтать.

-- Взгляните же на шкатулку, маленькая Линда просит вас, герцогиня, полюбоваться ее сокровищами. Вот цепочки и колечки, и брошь, и много всякого дорогого хлама; прекрасные дамы подарили все это, чтобы папа нарисовал их еще более красивыми, чем они на самом деле. Понимаешь? Маленькая Линда ставит сюда свой ящик, точно кружку для бедных.

Герцогиня рассмеялась. Он продолжал:

-- Этот огромный изумруд от леди Олимпии. А вот этот браслет с опалами от Лилиан Кукуру -- ведь она теперь на сцене...

Затем он открыл перед ней дверь, и в комнату тотчас же с холодным, деловым видом вошла семья иностранцев, занятая осмотром местных достопримечательностей. Сзади шел слуга, он подал художнику карточку. Якобус сказал:

-- Фрау Клара Пимбуш из Берлина. Ага, это дама, которую я должен писать. Она приехала в Венецию исключительно из-за меня. О цене мы уже условились, все в порядке... Скажите даме, что я сейчас буду к ее услугам.

Торжественно, с преувеличенно высокомерным видом провел он герцогиню мимо нескольких посетителей, через парадную мастерскую, где никогда не работал, -- обширную комнату с высоким, слегка сводчатым потолком, отделанным старым золотом. Стены, исчезавшие под старыми картинами, сверкающими или потемневшими, были покрыты потертым шелком; пол был устлан роскошными мягкими коврами, на узорах которых стояли резные столы под тяжелыми складками парчовых скатертей и мраморные консоли на золотых ножках, уставленные почерневшими, хмуро глядящими бюстами.

Они прошли через отделанную черным мрамором дверь комнаты; тяжелая, зачарованная памятью старого величия, враждебного современному добродушию, она должна была возбуждать у приехавших издалека посетителей безмолвное, робкое представление о сказочной, непонятной и потому почти страшной личности, к которой они приближались: о великом художнике.

Прощаясь, герцогиня вдруг спросила:

-- Разве мы должны считать наши семь лет законченными именно сегодня? Как собственно мы пришли к этому? Сегодня должна быть какая-нибудь годовщина...

-- Не правда ли? -- быстро ответил он. -- У вас тоже это ощущение. У меня оно было все время; это тоже способствовало тому, чтобы возбудить меня неподобающим образом, -- прибавил он. -- И только что, когда мы проходили через приемную, я вспомнил.

-- Что?

-- Что семь лет тому назад в этот день умерла Проперция.

Она посмотрела ему в глаза, оцепеневшая и охваченная ужасом. Затем она сказала:

-- Вы не должны были говорить мне этого, -- и ушла.

Когда она садилась в свою гондолу, подъехала госпожа де Мортель. Они бегло поздоровались. Клелия увидела странное волнение в ясных чертах герцогини. Тотчас же она внутренне возмутилась: "От великого человека, который принадлежит мне, не уходят с таким видом. Я запрещаю это!" Но ее враждебное чувство быстро спряталось под мечтательной миловидностью лица.

Герцогиня ехала домой, полная страха.

"Неужели воспоминание о тебе никогда не будет тихим и радостным? Неужели я всегда буду принуждена думать о тебе, которую я любила, как о враге? Ты изменила искусству и умерла из-за любви. Я знаю это, и знаю, что я достаточно сильна, чтобы не последовать за тобой. Зачем же после стольких лет ты снова так зловеще становишься на моем пути?"

Приехав домой, она заметила, что опять настойчиво и страстно говорила с мертвой. "Как тогда в Риме, -- сказала она себе, снова охваченная страхом, -- когда я целую ночь упрекала в измене мою бедную Биче. А утром я узнала, что она мертва. Она умерла, как Проперция".

Погруженная в эти мысли, она дошла до конца ряда кабинетов. Вдруг она остановилась с прерывающимся дыханием, прижав руки к груди. Она увидела нечто: она думала, что оно давно исчезло, быть может, уже семь лет тому назад. Теперь оно снова встало на краю мертвой лагуны: гигантская угроза белой женщины, вонзавшей кинжал себе в грудь.

* * *

Вечером друзья собрались в кабинете Паллады. Герцогиня беседовала с синьорой Джиной Деграндис о венецианских художниках и о свете, лежавшем в ранние часы на той или иной головке ангела. Нино благовоспитанно ходил по комнате, заложив руку за спину. Но на камине он заметил два длинных жезла из слоновой кости; наверху у каждого было лицо шута в остроконечном колпаке, скалящее зубы и уродливое. Мальчик стал на цыпочки и протянул руку. Сан-Бакко схватил его за большие, зачесанные кверху локоны; он отогнул назад его голову, заглянул ему в глаза и засмеялся. Он пощупал мускулы на его руках, привел рукой мальчика по своим собственным и дал ему один из жезлов. Другой он взял сам.

-- Ты умеешь фехтовать? -- спросил он, наступая на мальчика со своим оружием.

-- Я научусь, -- сказал мальчик; его глаза сияли. -- Конечно, я научусь... в свое время.

-- Почему бы и не сейчас?

-- Сейчас?

Он улыбнулся и на секунду задумался в нерешительности. Затем он твердо сказал:

-- Если вы хотите, то сейчас.

-- Возьмись за голову шута! -- воскликнул Сан-Бакко. -- Согни вот так руку, теперь выпрями ее и парируй. Теперь прими флорет и ударь меня в живот. Так...

Нино исполнял указания своего учителя, счастливый и серьезный.

Герцогиня заметила, что Якобус сидит в стороне от других, молчаливый и хмурый. "День смерти Проперции, -- каждый раз, как я взгляну на него, он будет повторять мне, что сегодня день смерти Проперции", -- сказала она себе, с трудом преодолевая ощущение холода.

Зибелинд и Клеллия сидели рядом, но беседовали мало. Граф Долан и его зять де Мортейль со скучающим видом лежали в креслах. Ноги старика стояли на мягкой скамеечке. Он был бел, как известь, и сидел невероятно съезжившись в своем широком платье; вся жизнь его, казалось, сосредоточилась в неустанном блеске черных зрачков под опущенными морщинистыми веками.

Подле него на столике комичный герой из слоновой кости с брюшком и в лавровом венке хвастливо обнажал длинный меч. Он пыжился на своем чересчур большом бронзовом пьедестале, украшенном сценами из рыцарских романов и древней торжественной надписью. Правая рука старика Долана крепко обхватила пьедестал. Время от времени она выдавала свою тайную судорогу легким постукиванием острых ногтей, торопливо ударявших о металлическую надпись. Она гласила слева: *Aspeto* -- Тепло, а справа: *Amor*. И Зибелинд, искоса поглядывавший на нее, с страдальческой злостью говорил себе, что у полуокоченевшего и все еще ненасытного старика нет "времени ждать", а от "любви" осталось только название.

Мортейль с намеренной бесцеремонностью развалился в кресле и рассматривал свои ногти. Он сказал:

-- Боже мой, милый папа, эту фигуру герцогиня, наверное, уступит вам. Но, откровенно говоря, ваше беление мне непонятно. Работа, пожалуй, хороша, но не хватает вкуса. Я сознаюсь, что не выношу отсутствия хорошего вкуса. Я не хотел бы, чтобы эта вещь стояла у меня в комнате... Что вы говорите? -- спросил он, так как старик прошипел что-то непонятное. Наконец, он разобрал:

-- Берегись открывать рот, когда речь идет о произведениях искусства.

-- Почему мне молчать, -- возразил он, -- Я здесь, кажется, единственный, одаренный критическим смыслом, -- единственный литератор...

Он высокомерно взглянул на старика, закрывшего глаза, пробормотал: "Не стоит", -- и вернулся к своим ногтям. Иногда он насмешливо поглядывал по сторонам, как будто заранее отражая возможные нападения. Вдруг он с выражением злобной наглости в лице принялся следить за Сан-Бакко, поправлявшим положение ног своего ученика: он собственноручно ставил их на их настоящее место на полу. Мортель нагнулся к жене и Зибелинду и сказал вполголоса:

-- Вы не находите, что у старика появляется вокруг рта странная черточка, когда он прикасается к красивым ногам мальчика?

Сан-Бакко ничего не слышал. Клелия резко повернула мужу спину. Зибелинд покраснел и с мучительной неловкостью отвел глаза. Мортель обратился за подтверждением к тестю, и из-под век холодного старца, под которые ушла вся его жизнь, сверкнуло язвительное и суровое презрение. Мортель отшатнулся.

-- Я стал стар, -- говорил в эту минуту Сан-Бакко смотревшей на него герцогине. -- Столько лет парламентского фехтовального искусства, и никогда ни одного настоящего удара, как вот этот... Браво, мой мальчик, -- руби всегда так. В кого-нибудь да попадешь. Я уже давно не был так молод.

И он сделал эластичный прыжок, чтобы избежать удара мальчика. Герцогиня улыбнулась ему.

-- Что для вас ваши шестьдесят лет!

-- Шестьдесят? Тогда я не гордился бы этим прыжком. Мне скоро семьдесят.

-- Не гордитесь все-таки! Вот там идет олицетворенная молодость. Это в самом деле вы, -- леди Олимпия?

-- Это я, дорогая герцогиня, семью годами старше.

-- Моложе, -- сказал Сан-Бакко, целуя руку.

-- После такой долгой разлуки, -- прибавила герцогиня. -- Прошлый раз, вы помните?

Она возбужденно рассмеялась.

-- Вы приехали специально к моему празднеству; я уже не помню, откуда. А теперь вы явились...

Она чуть не сказала: "Потому что сегодня семь лет со дня смерти Проперции". Она опомнилась: "Неужели я дам этому воспоминанию всецело овладеть собой?"

-- Откуда вы? -- спросила она.

-- С Кипра, из Скандинавии, из Испании, -- почти отовсюду! -- объявила леди Олимпия. Она обняла и поцеловала герцогиню, затем приветствовала Долана и Зибелинда. Герцогиня представила ей Джину и ее сына. Она крепко пожала руку Якобусу с радостным воспоминанием в сиявших счастьем голубых глазах. Из-под пудры по-прежнему пробивался здоровый румянец. По-прежнему она была окружена облаком благоуханий и соблазна.

Мортель поднялся только тогда, когда она обошла всех. Он поднес ее руку к губам и посмотрел ей в глаза с насмешливой фамильярностью. Затем он вставил в глаз монокль и сказал:

-- Семь лет, миледи, -- чего только не потребовала от нас за это время ваша красота. Бедные мы, мужчины. Вы же вышли из объятий нашего поклонения настолько же моложе, насколько мы стали старше...

Она смотрела на него с изумлением. Он произносил свои поэтичные фразы с холодной наглостью.

-- Пропитавшись, -- прибавил он, -- греческой мягкостью, северной силой и испанским огнем.

-- Возможно, -- равнодушно ответила она, пожимая плечами. -- Но не для вас.

И она отошла.

-- Этот господин всегда так остроумен? -- громко спросила она. -- Кто это такой, герцогиня?

"Обманутый муж", -- чуть не ответила герцогиня.

В эту минуту она не одобряла ничего, что делала и говорила леди Олимпия. Мортель внушал ей участие, но она раскаивалась в этом.

"Разве он не заслуживает своей участи? -- с неудовольствием говорила она себе. -- Он, из-за которого умерла Проперция. Я не могу чувствовать к нему сострадания, -- для этого я должна была бы ревновать к Клелии. Эта мысль, -- разве она пришла бы, мне в голову вчера? Нет, Клелия и Якобус правы, пусть они принадлежат друг другу..."

"Ты права!" -- хотелось ей уверить Клелию, -- и в то же время она боялась выдать свою дрожь. Она кивнула ей, но когда молодая женщина под села к ней, она не знала, что сказать ей. "Если бы в ней было еще что-нибудь, кроме властолюбия! -- думала она, печально глядя на нее. -- Если бы она, по крайней мере, любила его!"

Зибелинд, прихрамывая, подошел к леди Олимпии. Он прошептал:

-- Вы не слышали, что madame де Мортель только что, проходя мимо, шепнула своему любовнику, господину Якобусу Гальму? "Бедняга! -- это она говорила о своем муже. -- Бедняга! Я охотно позволила бы ему маленькое развлечение. Он так скучает со мной..." Не мило ли это?

-- О! Эта маленькая женщина хотела бы, чтобы я немножко развлекла ее мужа. Что ж, она меня считает за добрую фею семьи? Скажите, почему Мортель так опустился?

-- Опустился -- подходящее слово. Вот видите, миледи, во что превращается элегантный мужчина после женитьбы. Вы знаете, он сделал это из снобизма. Теперь он покрылся ржавчиной в своем палаццо на Большом канале и тоскует по своей парижской холостой жизни и даже по мужицкой жизни в бретонском охотничьем замке. Его жена не мешает ему зевать; она каждый день исчезает к своему великому художнику и освежается всеми теми неожиданностями и отсутствием морали, которые присущи золоченой богеме... Мортель отлично знает это...

-- О! Он знает это?

-- Не сомневайтесь, он не создает себе никаких иллюзий. Но он еще женихом объявил, что стоит выше предрассудка, делающего обманутого мужа посмешищем света. Он помнит это и разыгрывает спокойного мудреца. В действительности весь свой скептицизм он отправил к черту. Я

знаю его: в душе он ожесточен, подавлен, неопрятен. Мысленно он называет себя: "Муж", и как вы, миледи, заметили, старается принизить тон этого салона. В то же время его понятия об эlegantности становятся все более причудливыми. Посмотрите, он снимает пылинку со своего костюма и при этом рассказывает что-то неприличное. Он окружает свои любовные воспоминания педантичным культом. Он хороший пример того, что от стоящего выше всего скептика, от литератора высокого стиля до пошляка всего один шаг. Промежуточные ступени он перепрыгивает. Он женится и становится пошляком. Только его снобизм остается и переживает даже его достоинство. Он мог бы, пожалуй, поссориться с Якобусом, не правда ли, у каждого человека бывают моменты несдержанности. Но тогда ему пришлось бы избегать дома герцогини Асси, дома самой важной дамы Венеции. И будьте уверены, миледи, он сумеет всегда сдержаться.

-- О! -- произнесла только леди Олимпия, и Зибелинд подумал: "Она умилительно глупа". Он стоял перед великолепной женщиной, немного согнувшись, с унылым и хитрым лицом, и медленно водил по бедру своей страдальческой рукой.

-- Прежде всего у него, этого бывшего счастливчика, нет мужества принять это новое положение. Он боится меня -- несчастного по природе и призванию. Он испытывает ужас при мысли о том, что его могут увидеть в моем обществе, поставить его имя рядом с моим. Я уже как-то привел его в смертельный ужас, назвав в шутку коллегой. Это доставило мне редкое наслаждение.

Про себя он прибавил:

"А что за наслаждение рассказывать все это тебе, красивая, глупая индюшка, -- выбалтывать компрометирующие меня самого вещи, когда слушатель так нищ духом, что не понимает даже своего права презирать меня".

-- Вы говорите, кажется, теперь о себе самом? -- спросила леди Олимпия. -- Мой милый, вы необыкновенно умны. Как странно, что я заметила это только сегодня. Вероятно, раньше я вас мало видела.

-- Возможно. Я охотно держусь подальше от области чисто чувственного... Вы не понимаете меня, миледи? Я противник безнравственности.

Он положил палец на значок своего союза.

-- О, это совершенно лишнее, -- сказала леди Олимпия. -- Кто же ведет себя безнравственно? Для этого все слишком берегут себя.

-- Как только на горизонте покажется что-нибудь, что метит в наш пол, - а каждая красивая женщина метит в наш пол...

Он поклонился.

-- ...мною овладевает невыразимая стыдливость. Я горжусь ею и страдаю от нее.

-- Это в самом деле удивительно. Вы оригинал. Так вы совсем не хотели бы обладать мной?

Он опять подумал: "Как она глупа!" Он сказал:

-- Не больше, чем кем-либо другим.

-- Вы не только оригинал, но и нахал!

-- Дело в том, что мне хотелось бы обладать всеми, -- прошептал он, опуская глаза, -- потому что я не обладал ни одной!

-- Ни одной? Это невероятно!

-- Я не говорю о тех, которые не идут в счет.

-- И все-таки вы такой нахал? Заметьте это себе: меня желают все!

-- Я нет. Мне очень жаль. Если бы я вообще шел в счет, -- дело в том, что я не иду в счет, -- я желал бы только одну, гордое, нечеловечески гордое своей ужасной чистотою, бездонно-глубокое недоступное существо, которое умирает, когда его касается желание, и которое в своей беззащитности побеждает нас, потому что умирает...

-- Потому что... Теперь я, кажется, не совсем понимаю вас, но вы возбуждаете во мне страшное любопытство.

-- К чему, миледи?

-- К вам самому, к вашей личности. Я хочу основательно узнать вас. Считайте себя...

-- Я не считаю себя ничем, миледи, -- прервал он, от испуга отступая в сторону.

-- Это ее тон, -- тихо сказал он себе, -- когда она хочет кого-нибудь... -- и сейчас же вслед за этим: -- "Тебе, видно, нечего делать, жалкий дурак, как только воображать, что тебя хотят? Ты заслуживаешь"...

-- Вы нравитесь мне, -- заметила высокая женщина, внимательно оглядывая его полузакрытыми глазами. -- Как я могла не заметить вас? Вы необыкновенны, -- не красивы, нет, но необыкновенны, -- очень хитры, почти поэт...

"Послушай-ка, -- торопливо, в лихорадке, крикнул он себе. -- Ты заслуживаешь плети, если хоть на секунду считаешь возможным, что эта женщина желает тебя"...

В то же время он говорил, корчась от муки:

-- Я ничто, уверяю вас, даже не поэт, самое большее -- проблема, да, проблема для самого себя, которой не возьмешь голыми руками, проблема, внушающая ужас самому себе, отвратительная и священная. Быть вынужденным понимать себя -- моя болезнь. Я никогда не могу невинно отдаться жизни, как бы я ни любил ее. Но понимать -- понимать я могу и ее; это мой способ завладеть ею, -- жалкий способ, как видите, и притом мучительный и для меня самого...

-- Право, вы нравитесь мне, мой крошка, -- услышал он голос леди Олимпии. Не было сомнения, что она сказала "мой крошка". Зибелинд покорился.

Он вытер пот со лба, поклонился и отошел.

-- До скорого свидания, -- крикнула она ему вслед.

Он бродил по террасе, потом по смежным залам. В углу пустой комнаты он увидел Якобуса и бросился к нему.

"Я любим, я любим!" -- хотел он крикнуть ему, -- леди Олимпия любит меня, прекрасная, возвышенная женщина любит меня! Я не принадлежу больше к отвергнутым, незамеченным!"

Он подавил это желание, схватил Якобуса за пуговицу и торопливо заговорил:

-- Мортель, ах, он принадлежит теперь к той, которые презирают себя! Роли переменились, мой милый, вы заметили, как леди Олимпия отделила его? Не правда ли, какая гордая, благородная женщина! О, я не верю и половине низких сплетен, которые ходят о ней. Что я говорю, -- и с той части, -- ничему не верю я!

-- Это в вашей власти, -- заметил Якобус, -- хотя... Но что с вами?

На щеках у Зибелинда выступил чахоточный румянец, волосы были совершенно мокры, глаза сверкали.

-- Я любим, друг, -- и он обдал собеседника своим горячим дыханием. -- Я любим прекраснейшей, очаровательнейшей и чистейшей женщиной, леди Олимпией.

-- Значит, вы тоже? -- сказал Якобус.

-- Как это тоже? Вы ошибаетесь, Олимпия не любила никогда никого, кроме меня. О, я не обманываю себя!

-- Как хотите, -- ответил Якобус, оцепенев.

Зибелинд хотел обманывать себя; сверхчеловеческая, внезапно вспыхнувшая потребность прорвала все плотины: потребность хоть раз в жизни обмануть себя, видеть все в розовом свете, верить, прославлять и восхвалять.

-- Вообще! -- воскликнул он, -- не только леди Олимпия, -- все женщины, все лучше, чем вы думаете!

Он был настроен воинственно и готов во имя достоинств мира взяться за нож.

-- Вы, мой милый, большой реалист и только ради поэтического эффекта выдаете себя иногда за обманутого рыцаря из дома La Mancha. И несмотря на ваши расчеты, вы так невинны, полудитя, -- бессознательный соблазнитель; это-то и плохо. У вас такая благомыслящая манера опутывать женщин поэтическим мирозерцанием, пока они не начинают сами себя считать богинями. Но о каждой в отдельности вы без дальнейших доказательств думаете самое оскорбительное. Я, мой милый, поступаю как раз наоборот. Я сознаюсь, иногда я выражал сомнение по поводу оборотной стороны жизни всех этих красавиц, но каждая в отдельности для меня неприкосновенна. Что вы думаете, я лучший человек, чем вы! О, я очень рад, леди Олимпия любит только меня, а все остальное клевета.

Якобус подумал: "Что за нездоровое воодушевление!"

Он спросил:

-- А Клелия?

Зибелинд топнул ногой.

-- Клелия тоже высоко порядочная женщина, вы не будете отрицать этого.

-- Конечно, нет, -- беззвучно сказал Якобус.

-- Я понимаю, что вы хотите сказать, -- все раздраженнее восклицал Зибелинд. -- Но разве бедная женщина виновата в этом? Как раз только что я был свидетелем того, как она выказала благороднейшее презрение своему

отвратительному мужу за то, что он осмелился заподозрить в Сан-Бакко старческую похоть по отношению к этому мальчику. Она высоко порядочная женщина. Но она во власти какого-то обольщения... Сознайтесь, наконец, что, несмотря на ваши поэтические фразы, вы считаете всех женщин просто...

-- Вы знаете, кем, -- закончил Якобус.

Зибелинд минуту размышлял. Затем, подняв брови, тихо и коварно осведомился:

-- И герцогиню?

-- И герцогиню! -- вырвалось у художника. Он багрово покраснел, повернулся и ушел.

Когда он вошел в соседнюю комнату, леди Олимпия взяла его об руку. Она повела его по залам и заговорила о приятных воспоминаниях, связывающих их.

-- Да, да, -- рассеянно повторил он. -- Мы тогда очень приятно развлекались.

-- Нам следовало бы начать сначала, -- сказала она. -- Сегодня как раз опять такой вечер. Лагуна заглядывает в окна. Здесь снова со всех сторон шепчутся о любви.

В конце концов, она объявила, что ее гондола ждет.

Он уклонялся с отвращением, поглощенный горькими мыслями. Он бранил себя самого:

"Что ты утверждал о герцогине, негодяй? Какую безумную наглость позволил ты себе сказать о ней этому дураку? И зачем! Чтобы похвастать! Только потому, что сегодня утром ты наговорил ей множество вещей, которые было бы лучше оставить про себя, которые она к тому же уже знала, -- и которые в новый момент пониженной вменяемости ты все-таки повторишь ей опять!"

-- О, я чувствую это! -- громко вздохнул он. И леди Олимпия, приписавшая его чувства себе, увлекла его за собой. -- Теперь я обманываю еще и беднягу Зибелинда. А он в своем блаженном экстазе назвал меня другом! Как все это смешно и жалко.

И ему доставило удовольствие еще омрачить печаль своих безнадежных желаний мыслью о горьких чувствах других.

* * *

Герцогиня стояла одна в дверях террасы, отвернув лицо. Она не хотела больше видеть ни опустившегося мужа, ни любовницы, бессильно смотревшей вслед своему художнику, исчезающему с искательницей приключений, ни слепого безумца, который, потя и хромя, носил свое воображаемое счастье по пустым кабинетам.

Вдруг она услышала за собой голос Сан-Бакко:

-- Герцогиня, вы прекрасны. Наша Паллада становится все прекраснее. Как это возможно? Чем старше я становлюсь, тем больше растет моя нежность к вам. Она обогащается всей той любовью, которую я раньше расходовал в походах за свободу.

Она неподвижно смотрела перед собой.

-- Я не поверил бы, что могу любить вас еще глубже, герцогиня, -- сказал он. -- Но я почувствовал это сегодня, в ту минуту, когда приобрел друга.

Она молчала.

-- Сегодня вечером, -- в вашем доме и как бы из ваших рук, герцогиня, я получил друга, равного которому у меня не было, кажется мне, и в лучшей юности. Не правда ли, Нино? О, такие люди, как мы, чувствуем это уже при пожатии руки. А уж при фехтовании и подавно. При фехтовании сейчас видно, кто вероломен и кто прям душой; видно и то, кто в состоянии забыть себя и выступить за дело: будь это только из любви к славе или же потому, что герцогиня Асси так прекрасна. Не правда ли, Нино, она прекрасна?

Наступила пауза. Потом юношеский голос, звонкий и дрожащий, произнес:

-- Да, она прекрасна.

Герцогиня медленно обернулась и улыбнулась им обоим. Она знала, что Сан-Бакко не говорил ей ни одного нежного слова, не прочувствовав его так же по-детски и искренно, как его тринадцатилетний товарищ. Они стояли перед ней, обнявшись. Старик обхватил шею мальчика, а отрок обвивал рукой талию ментора.

-- И благодарна вам, -- сказала она и не могла продолжать. Затем она закончила:

-- Вы не знаете, как вы мне нужны именно сегодня...

Он сейчас же выпрямился, его голос стал звонким и повелительным.

-- Я нужен вам? Разве не сказано в нашем старом договоре, что когда бы вы ни позвали меня...

-- Тише, тише. Мне нужны были ваши добрые слова. Теперь все хорошо. Скажите мне еще: что я для вас и что для вас Нино?

-- Встреча с другом освежает мою любовь к владычице. Мой взгляд ищет вас, герцогиня, и останавливается на сиянии над вашими волосами: и в то же время я чувствую, что у меня есть друг. Что из того, что он дитя. Если бы он был у меня прежде, на полном приключений пути моей жизни, где столько приходилось голодать, торжествовать, скрежетать зубами, проливать кровь, -- не правда ли, Нино, мы были бы теми друзьями, которые выливают последний стакан вина, потому что ни один не хочет отнять его у другого, которые обнявшись взбираются на Капитолий, которые умирают от одной пули, потому что у них одно сердце... Это удивительно, я не знаю почему я сегодня вечером так возбужден и мечтательно настроен. Ведь ничего не случилось.

"Нет, пока ничего", -- подумала герцогиня.

Она слегка вздрогнула от мягкого вечернего ветерка; она склонила голову и подставила ему лоб. Слушая старика, она все время чувствовала на себе взгляды мальчика, восхищенные и безгранично преданные. Они падали на ее лицо, руки и всю фигуру, мягкие, сладостные и немного усыпляющие, как журчанье маленького фонтана. Она смутно чувствовала соблазн этих милых прикосновений, этих слов, этих взглядов -- и не сопротивлялась ему. Сан-Бакко заметил:

-- Но между мной и Нино, между лучшими друзьями, лежит вся жизнь.

Она, точно во сне, подумала, что это самые глубокие слова, какие когда-либо произносил Сан-Бакко.

-- По крайней мере, тот период, когда перед человеком открыты возможности.

-- Какие?

-- Все. Когда возможно все. Период мужской зрелости.

При этих словах ей представился зрелый муж, -- ее внутреннему взору явился Якобус, он, чье искусство сообщало реальность и долговечность всем вещам, всему тому великолепному что когда-то пережил этот старец, и о чем быть может, мечтал этот мальчик.

Вечер медленно спускал свой покров на серебряное зеркало лагуны. Он вплетал в него образы; вначале они были неопределенными и серыми, но потом стали пестры и яркие. Перед глазами герцогини находился памятник женщины, вонзавшей кинжал себе в грудь. Но она смотрела сквозь него и замечала только эти образы, колышущиеся и покоряющие. Это были пышные, слившиеся тела, поющая и бунтующая кровь и переходившая в глубокий трепет улыбка картин смежного зала -- зала Венеры. Это отражение его пышного упоения колебалось в вечерней дымке, как Фата-Моргана, палящая и приковывающая.

Герцогиня затаила дыхание, полная ужаса и желания. Не сознавая этого, она сделала шаг вперед.

* * *

Джина осталась в своем кресле у камина и смотрела оттуда, как ее сын вкладывал руку в руку герцогини.

"Мои мечты исполнились, -- подумала она. -- Теперь я могу немного отдохнуть". Она закрыла большие темные, блестящие глаза, и сейчас же по ее лицу с легким, робким румянцем по обе стороны заостренного носа разлилось спокойствие. Лихорадка, гнавшая ее от одной прекрасной вещи к другой и заставлявшая ее бороться с совершенными предметами, прежде чем они отпускали ее, почти совсем улеглась. Она как будто спряталась в глаза Паллады, в которых глубоко и постоянно горела тоска. Джина сложила руки на коленях. Ее худые плечи наклонились вперед; черные кружева воротника корбились на узкой груди. Она вздохнула и сказала себе: "Мы счастливы", -- она подразумевала и герцогиню.

В углу, между отцом, у которого были закрыты глаза, и мужем, подмигивавшим ей, сидела Клелия.

"Он смеется надо мной, -- думала она, -- потому что та женщина увела у меня Якобуса".

"Ты ошибаешься, -- подумала она вслед затем и молча улыбнулась в лицо Мортеллю. -- Я страдаю не так, как ты думаешь, и не по той причине. Боже мой, Якобус обманывает меня с большинством женщин, которых пишет: почему бы и не с леди Олимпией. Это делает меня только еще немножко более усталой... Но я страдаю больше, чем ты, бедняжка, думаешь, потому что я вложила все в дело, которое основала на неправильном расчете, и

которое не приносит больше ничего. Художник Якобус, надо тебе знать, не сдержал ничего из того, что обещал, когда всходила его звезда, и когда я решила сделаться его госпожой. Он представлялся мне тогда странствующим завоевателем, полным задора и огня, безмерно властолюбивым и честолюбивым. Я хотела разделить с ним славу и пользоваться властью вместо него. Я сделала бы из его гения недоступную святыню и неумолимо эксплуатировала бы ее среди орд почитателей, учеников, дельцов, должников и кредиторов, журналистов и женщин, снова женщин, и завистников, и просто любопытных. Сколько шума и чада может распространить по Европе гений его сорта! Сколько каналов может он провести к себе, по которым потекут почести и деньги из отдаленнейших стран.

И тогда я верила в него: разве это не должно было помочь? Мое честолюбие я тогда выражала не холодными словами, а жаркими поцелуями. Я не любила его, я это знаю. Но разве я не уверила его, что люблю? Как бурно я, едва выйдя замуж, бросилась в его объятия!

И вот за все эти годы он почти не покидал Венеции, Его слава не дает мне никакого опьянения, ни чувством власти, ни блеском; его жизнь ограничена тремястами богатых дам с расстроенными нервами: печальные персонажи, в конце концов.

Почему это так? Я знаю это. Я вижу это и упиваюсь этим. Потому, что он любит герцогиню Асси! Она удерживает его в этом задохнувшемся в своих лагунах провинциальном городе! Она не позволяет ему творить ничего, кроме пустяков, чтобы он мог всегда лежать в прахе у ее ног. Он пишет только ее. Только когда он опять -- в пятидесятый раз, -- славит на своем полотне и делает бессмертным новый невозвратный миг ее красоты, он совершает одно из деяний, которые когда-то обещал.

Как я страдаю -- оттого, что она все, а я ничто! И оттого, что я даже не могу зачестить ей этого, потому что она этого не хотела. Его страсть вызывает у нее холодность, а его экстазы -- неприятное удивление. Я могу себе представить, какие кризисы они переживают вместе. И за то, что она не уступает ему, я тоже обвиняю ее, -- как ни ненавижу я ее за то, что он ее любит.

Поэтому -- и она опять молча улыбнулась в лицо мужу -- хорошо, что искательница приключений увела его отсюда. Он был слишком неспокоен, я видела, что его мучит нечистая совесть, даже ненависть к себе и к возлюбленной. Несколько часов в объятиях леди Олимпии, и он будет побежден, утомлен, его лихорадка уляжется, и он будет не в состоянии ненавидеть эту герцогиню... И любить тоже... Не правда ли, я стала очень скромна и смиренна, если благодарна какой-нибудь леди Олимпии?"

И она посмотрела на Мортейля, как будто спрашивая его. Он смутился. Клеллия не грелась больше, как прежде, на солнце восхищения в глазах любующихся ею зрителей. Ее черты стали умнее и резче. Не раз тс, в лицо которых она испытующе всматривалась, старались уклониться от ее взгляда. Но вдруг она откидывала голову назад, так что вечерний свет полно и мягко заливал ее, и среди чудесных масс волос он снова сверкал

золотистыми сказочными грезами, точно на усеянных цветами лугах весной.

Появились слуги со свечами и прохладительными напитками. Старик Долан позвал, не поднимая век:

-- Клелия!

Она наклонилась к нему. Он прошептал:

-- Клелия, дочурка, достань мне у твоего Якобуса копию его последнего портрета герцогини. Это шедевр, я хочу иметь его.

-- Хорошо, папа... Скажи мне, тебе нездоровится? Ты так дрожишь.

-- Это только потому, что мне хочется иметь его... Заставляй же его работать! Он работает слишком мало... Используй его -- для нас обоих.

Она сказала: "Да, папа", -- и подумала: "Что тебе нужно еще? Ведь ты умираешь. И что нужно мне самой!"

-- Борись с ним!

-- Будь спокоен, папа, он слушается меня.

-- Нет, нет.

Старик сжал свои морщинистые кулаки.

-- Борись с ним, пока его творения не станут огромными и не убьют его! Ты не подозреваешь, что мы можем выжать из них, из наших художников. Необузданные творения, для которых ни у одного смертного нет достаточно крови и нервов. Они сопротивляются, так как чувствуют, что вырывают при этом из себя всю жизнь. Но мы заставляем их, мы боремся с ними: так боролся я с Проперцией.

Мимо прошла герцогиня, держа Нино за руку. Она дала ему щербет.

-- Проперция, -- спросила она, встрепенувшись. -- Здесь говорят о Проперции?

Мортейль выпрямился и объявил:

-- Мы с удовольствием вспоминаем добрую Проперцию. Это было страшно интересное время.

-- Какое время? -- высокомерно переспросила Клелия.

-- Интересное, моя милая. В Проперции было что-то, что щекочет литератора. Бессознательность гения у нее увеличивалась инстинктами ее простонародного происхождения. Я признаюсь, что было время, когда я сомневался в героине свой пьесы, -- вы помните, герцогиня, воплощение великой страсти. Да, природа иногда подавляет.

-- Так вы были подавлены? -- спросила герцогиня. -- По вас это совсем не было видно.

Он встал, вставил монокль и сделал несколько шагов, преисполненный сознания своего достоинства, но ноги плохо повиновались ему.

-- Я не дал подавить себя. Я хочу только сказать, что искушение было сильно. Но мой принцип -- всегда держать наготове критическое отношение, все обозревать и перерабатывать в слова.

Он дошел до двери на террасу и остановился возле Сан-Бакко. Старик Долан вдруг открыл глаза, насколько позволяли тяжелые веки. Он придвинул свою голову к Клелии и с диким усилием прошептал у ее уха: - Обманивай его, дочурка! Он не заслуживает ничего лучшего. Разве не

потребовал этот несчастный, чтобы мой кичливый толстопуз из слоновой кости был подчинен хорошему вкусу, хорошему вкусу парижанина, его изяществу и его страху перед излишествами! Обманивай его! Я слишком поздно заметил, что он предпочитает первую попавшуюся певичку Бианке Капелло. Он боялся бы ее! Сказать тебе, чего он хочет искреннее всего? Чтобы ты осталась худой! Только бы не быть больше обыкновенного, не возвыситься над посредственностью и не погрешить против хорошего вкуса. Обманивай его! Мне было бы приятнее, если бы ты вышла замуж за господина фон Зибелинда, хотя он карнавальная маска. Он ненавидит прекрасное. Это все-таки кое-что. У него вывороченное наизнанку художественное чутье, но у моего зятя нет никакого, у него есть только ходячее мнение литератора, и он покрывает им, как большим газетным листом, все прекрасное, -- даже колосса Проперцию!..

-- Я хочу рассказать вам, -- говорил между тем господин де Мортель, -- как прирожденный литератор обращается с жизнью...

Он стоял, втянув живот, почти такой же стройный, как прежде, и очень надменный, у одной из колонн, сквозь которые заглядывали сумерки. Он скрестил ноги, минуту задумчиво вертел между двумя пальцами длинный, мягкий кончик усов, и, наконец, начал свой рассказ:

-- В молодости у меня была в Париже любовница, девушка из почтенной буржуазной семьи. После трехлетней связи она надоела мне. Она заметила это и приняла предложение состоятельного немолодого человека, который считал ее совершенно невинной. Вначале я позволил ей выйти замуж, так как она была мне совершенно безразлична. Потом я передумал и запретил ей это. Она настаивала на своем, и я предостерег ее. Несчастливая упорствовала в своем непослушании.

Ну, что ж! Перед самым отъездом к венцу я вхожу в гостиную ее родительского дома, в которой собрались все такие бравые люди. Вы можете себе представить: невозможные фраки рядом с бальными платьями, усеянными бантами. Жених носит очки и бакенбарды, точно нотариус... Я не обращаю ни на кого внимания, подхожу прямо к девушке, целую ее в лоб и громко говорю: "Bonjour, bebe, comment sa va".

Вначале Мортель несколько запинаясь, но затем его рассказ полился плавно, а неожиданный заключительный эффект прозвучал с мастерской отчетливостью. Он пояснял свои слова короткими и изящными движениями руки.

-- Общее смятение, обморок невесты, бегство свадебных гостей, немедленное расторжение помолвки: вы ясно представляете себе все это, сударыни. Я прибавлю, что девушка вышла замуж за бедного парикмахера. Она сидит в своей единственной камерке в пятом этаже и скучает... Обратите внимание на то, что меня совершенно не интересовало, выйдет ли она замуж за состоятельного буржуа или нет, -- я устроил эту сцену исключительно для того, чтобы изучить ее действие на праздничное свадебное общество. Мне нужно это было для одной из моих литературных работ, из которой потом ничего не вышло.

Ему показалось, что его рассказ произвел впечатление на герцогиню и синьору Деграндис, и он слегка поклонился.

В это время он услышал за собой гневный голос:

-- Вы, кажется, и не подозреваете, сударь, что вы сделали?

-- Что такое? -- произнес Мортель, оборачиваясь.

Перед ним стоял Сан-Бакко с таким видом, какой у него бывал в важных случаях. Он скрестил руки высоко на груди. Его сюртук был застегнут в талии и открыт сверху. Бородка дрожала, белый вихор вздымался над узким лбом, голубые глаза сверкали жестким блеском, как бирюза. Молодой человек тотчас же принял соответствующую осанку. В ней выражалась сдержанная враждебность. Он спросил:

-- Что же я сделал, по вашему мнению, милостивый государь?

-- То, что вы причинили тогда беззащитной девушке, не подлежит моему суждению. Но сегодня, милостивый государь, рассказом о низком поступке вы оскорбили достоинство этой гостини. Заметьте себе, что я не потерплю этого!

-- А вы, милостивый государь, заметьте себе, что не вам давать мне приказания.

-- Вам придется оспаривать у меня это право не на словах.

-- Я это и сделаю. Вы, милостивый государь, если я верно осведомлен, бывший пират, и ваши поступки, для которых эпитет "низкие" был бы очень мягким, указывают вам место на галере, а не в этом доме.

-- К счастью, я здесь и в состоянии проучить вас.

Сан-Бакко, задыхаясь, ринулся вперед. Мортель схватил его за рукав. Он был очень бледен. Они молча оглядели друг друга; оба прерывисто дышали. Затем Мортель сказал:

-- Вы услышите обо мне, -- и они разошлись в разные стороны.

Тяжелое настроение в комнате, в которую лагуна посылала первое напоминание о летнем гниении, в то же мгновение рассеялось, точно при звуках фанфар. Свечи, казалось, вспыхнули и ярче разгорелись. Герцогиня радовалась воинственности Сан-Бакко; на мгновение она была охвачена тем же гневом, что и он. Клелия, как только Мортель направился к ней, встала с таким видом, как будто гордилась им. Она чувствовала, что все забыли, что он обманутый муж, мстивший при помощи вызывающей грубости. Об этом забыли, -- видели только, что в стычке со старым дуэлянтом он держался холодно и храбро.

Господин и госпожа де Мортель простились с хозяйкой дома и с синьорой Деграндис. Старик Долан с трудом поднялся и поплелся к двери между своими детьми. Там ждали слуги, которые должны были снести его в гондолу. В дверях он еще раз обернулся к герцогине и двусмысленно улыбнулся своими узкими губами, как будто говоря: "К чему эти ребячества? Все останется по-прежнему". И вдруг ею опять овладело тревожное настроение этого вечера. Она догнала Сан-Бакко, который весело и быстро прогуливался по комнатам. Она схватила его за обе руки.

-- Мортель попросит у вас прощения. Он послушается меня, положитесь на это. Обещайте мне, что не будете драться!

Он не успел даже произнести слов:

-- Мой милый друг!

И он корчился под ее пальцами, разочарованный и испуганный.

-- Не настаивайте на этом, -- пробормотал он, наконец. -- Герцогиня, я чувствую, что мог бы уступить вам. Но это была бы моя первая уступка в таком деле, и я раскаивался бы в этом весь остаток своей жизни!

Ей вдруг стало стыдно, она выпустила его руки.

-- Вы правы. Это было неправильное побуждение с моей стороны.

-- Вот видите! -- воскликнул он. Он весело прыгнул в сторону; потирая себе руки и размахивая ими.

-- Еще раз! Это тридцать третья. Глупо гордиться этим, правда? Но я не могу иначе. И еще одно радует меня. Он хотел рассердить меня, не правда ли, и назвал меня пиратом. Почему он не попрекнул меня моими летами? Такому остроумному молодчику приходят в голову всякие вещи. Он мог бы сказать: "Если бы меня не удерживало уважение к возрасту" и так далее -- это известная штука. Ну, и вот, это не пришло ему в голову! И поэтому я уже почти не сержусь на него. Я буду драться с ним только потому, что это доставляет мне удовольствие!

В это мгновение он столкнулся с Нино. Мальчик дрожал от сдержанного воодушевления. Его взгляды вылетали из-под высоких дуг бровей, как юные гладиаторы; он тихо и твердо попросил:

-- Возьмите меня с собой!

-- Почему бы и нет?

-- Нет, нет! Не берите его! -- крикнула Джина, но смех Сан-Бакко заглушил ее слабый голос.

-- Теперь мы должны поупражняться! -- приказал он. -- Идем, вот твой флорет.

И он опять дал ему трость из слоновой кости. Они стали фехтовать.

-- Вперед! -- командовал Сан-Бакко. -- Другие сказали бы тебе: ждать, подпустить противника к себе; я говорю: вперед!

-- Не берите его, -- повторила Джина еще тише. Но сейчас же у нее вырвалось:

-- Как это красиво! Почему это два человека, выставяющие вперед одну ногу, вытягивающие назад левую руку и вперед правую и скрещивающие две трости, -- имеют такой смелый и благородный вид!

Герцогиня сказала:

-- Вы знаете, что это за трости? Это скипетры старых придворных шутов. Двое из этих крошечных созданий, которые прокрадывались по лестничкам с плоскими ступеньками в свои низкие каморки, и которым время от времени было позволено мстить знатным и могущественным за свое жалкое, презренное существование злыми шутками, -- двое из них, быть может, когда-нибудь дрались этими тростями. Но теперь...

Она dokonчила торжественно, и Джина почувствовала страсть в ее словах:

-- Но теперь ими делают нечто прекрасное, как вы сказали, синьора Джина, -- нечто смелое и благородное!

-- Нет, я не хочу больше думать о Проперции, -- крикнула она себе. -- Весь вечер я чувствовала над собой ее руку. Разве я не начала подозревать самое себя? Теперь я хочу сидеть подле этой кроткой мечтательницы и быть счастливой, как она.

-- Синьора Джина, я все больше убеждаюсь, что видела вас когда-то -- нет, слышала. Ваш голос знаком мне. Мне все вспоминаются какие-то обрывки слов... подождите... Нет, я опять забыла.

-- Я не знаю, -- ответила Джина. -- Я не говорила, кажется, ни с одним человеком.

-- Ах, все-таки, вспомните ночь: почти такую, кажется мне, как эта, несколько взволнованную, немного душную и тревожную, -- потому что я сознаюсь вам, эта дуэль немного тревожит меня... и не одна она. Словом, если бы я только знала... Милая синьора Джина...

Она схватила Джину за руку.

-- Вы счастливы?

-- Да. Но это было не всегда так: -- если вы знали меня прежде, это должно быть вам известно.

Она думала:

"Что с этой прекрасной женщиной? Она дрожит. Ее лицо должно было бы быть солнцем для всех нас, а теперь я вижу на нем страдание и чувствую сожаление к ней. Чтобы сказать ей успокаивающее?"

-- Слушайте, герцогиня. Судьба проста и справедлива, верьте этому. Я обязана ей своим спасением. Я была замужем за помещиком, жившим в окрестностях Анконы, сельским бароном, который пьянствовал, проигрывал мое состояние, предпочитал мне горничных. Он обращался со мной ужасно, в то время, когда я должна была подарить ему ребенка. И я умирала от страха и отвращения при мысли, что ребенок может быть похожим на него. Я представлялась больной, чтобы не быть принужденной видеть его багровое небритое лицо с узкими губами и низким лбом, выражавшим жестокость. На каких более красивых чертах мог покоиться мой глаз? В нашем глухом углу была только одна прекрасная вещь: маленькая церковь, находившаяся в ста шагах от нашего дома. Ее стены были покрыты фигурами, совсем маленькими смеющимися ангелами. Там была и картина, мальчик с золотыми локонами, в длинной, персикового цвета одежде. Он протягивал левую руку назад, двум женщинам в светло-желтом и бледно-зеленом. В правой руке он держал серебряную лампаду и освещал ею спрятавшийся во мраке сад... Что с вами, герцогиня?

-- Ничего. Теперь мне легче. Благодарю вас.

Теперь она знала, кто такая была Джина.

-- Рассказывайте дальше, пожалуйста.

-- Из-за этого мальчика я стала набожной и не пропускала ни одного богослужения. Я приходила и ночью. Дверь церкви...

-- С вырезанными на ней головками ангелов, -- дополнила герцогиня.

-- Не запиралась, -- продолжала Джина, погруженная в воспоминания. -- Я проскальзывала в нее, вынимала из-под плаща маленький фонарь и ставила его на балюстраду перед приделом, в котором он шествовал по

своему темному пути. Я со страхом и ожиданием открывала фонарь, и узкий луч света падал на его лицо и на крупные, загнутые на концах локоны. Я опускалась на колени перед ним и стояла так часами. Я старалась глубоко и всецело проникнуться его чертами. Когда я на рассвете кралась домой, на душе у меня было так же сладко и бодро, как сладко и бодро было его лицо...

У моего мужа, который видел в своем доме чуждого своей породе ребенка, явилось подозрение. Один из слуг рассказал ему про мои ночные уходы. Он мучил меня, но я молчала. Он никогда не открыл бы правды; ведь сам он смотреть на картину был не в состоянии. В конце концов, он заподозрил одного из своих собутыльников и погиб пьяный в драке.

-- Вы простили ему? -- спросила герцогиня.

-- Я простила ему и не жалею его.

-- Попал! -- опять крикнул Сан-Бакко.

-- Стой! После такого удара ты не двинешься с места, говорю тебе!

Старик и мальчик в последний раз скрестили трости. Герцогиня смотрела на них молча, с нежным волнением. Они подошли к ней, взявшись за руки. Дверь на террасу была теперь завешена, комната закрыта, полна теплого света и охраняема Палладой. Герцогиня чувствовала, как ее окутывает и глубоко успокаивает счастье этих трех людей. У бледной Джины оно было тихое и мечтательное, у фехтовальщиков сверкающее и бурное.

Обед был готов, они перешли в столовую.

-- Сначала шла деревенская стена, -- вдруг сказала герцогиня. -- На ней были нарисованы Страсти Господни. Там, где она кончалась, несколько в стороне от своей колокольни, стояла маленькая восьмиугольная церковь; за ней открывалась длинная цветущая аллея из лип и каштанов. На дорожке играли падавшие сквозь листья пятна света от восходящего месяца, а в конце ее стоял белый дом.

-- Что это? -- пробормотала Джина. -- Откуда вы знаете?

-- Сейчас.

Она заговорила торопливее:

-- Я пошла по молчаливой, зачарованной месяцем аллее к белому дому. Флигеля выдавались под прямым углом, главное здание, широкое и одноэтажное, вырисовывалось на сером фоне сумерек, дорожка, ведущая к нему, постепенно поднималась, сверкая в лунном свете. В треугольной тени от деревьев вспыхнуло красным светом окно. Оно открылось, какая-то женщина сказала мне глухим голосом что-то такое милое.

-- Это были вы! О, это были вы! -- пробормотала Джина, глядя прямо перед собой.

-- Эта была одна из решающих ночей моей жизни, -- сказала герцогиня. -- Бегство и приподнятое настроение привели меня к вам, синьора Джина, и в темноте я заметила, что увозила с собой друзей... Скажите мне только одно.

-- Что же?

-- Мальчик и обе женщины: я сейчас же почувствовала, что я одна из них: теперь я знаю, что другая -- вы. Но куда светит нам его слабая лампада? Что лежит за мраком?

-- Искусство! -- ответила Джина; ее голос дышал пламенным убеждением. Она смотрела подруге в глаза. Герцогиня улыбнулась; ее улыбка была так горда, что Джина не заметила, сколько в ней было скорби.

-- Я надеюсь на это -- от всей души!

V

Герцогиня поспешила к Сан-Бакко: она получила известие, что он тяжело ранен. Но перед его дверью она должна была остановиться: из нее выскользнул Нино, торжественный, с почтением перед собственным великим переживанием в глазах.

-- Он ранен в лицо. Флорет попал ему в рот и вышел обратно через щеку.

-- В каком месте, Нино?

-- Здесь. Я не знаю, как называет все это доктор. Я узнаю.

-- Нино, ему плохо?

-- Очень плохо, -- твердо сказал мальчик, подавляя рыдание.

-- Мне нельзя войти?

-- Не думаю. Нет. Там два врача. В... я не знаю, там, где они дрались, не было врача. Поэтому он потерял много крови. Кроме того, там сестра милосердия, и еще какой-то человек, который раздел его и уложил в постель. Врачи делают перевязку. Он без сознания.

-- Зачем входить? -- тихо сказала она. -- Это бесполезно.

И она подумала. "Как бесплодно все, что я делаю. Как бесплодна я сама. В сущности, он дрался из-за меня. Это лучшее, что у меня было. Он умрет".

-- Поди к нему ты, Нино, -- сказала она. -- Тебя они не прогонят.

-- Они и не увидят меня, я так ловок.

Она вернулась домой и заперлась у себя в безутешной скорби.

-- Он умрет. Однажды меня уже покинули так внезапно; Проперция сделала это, но она оставила меня под охраной богини. Богиня дала мне в руки мою жизнь, как драгоценную чашу. Мне кажется, что ее блеск померк, а ее чистота изрезана запутанными знаками.

Через три дня она оправилась и снова пошла туда. Это было утром, морской ветер приносил прохладу, веселый звон раздавался по городу. Нино сказал ей:

-- Вам нельзя войти. Сегодня у него с утра жар.

-- Может быть, на минуту? -- кротко спросила она.

-- Его не должен видеть никто, кроме меня и сестры, -- важно объявил он. Но вдруг взволновался:

-- Это огорчает вас? -- воскликнул он. -- О, этого не должно быть. Для вас, конечно, сделают исключение. Жар у него маленький. Подождите, я спрошу.

-- Оставь, я не хочу. Это повредит ему.

-- Но зато, -- горячо сказал он, -- я сегодня могу повторить вам все, что сказал о ране врач. Она не так опасна, как казалось по виду. Флорет

соскользнул с первого правого резца, скользнул вдоль зубов и вышел на под правой ушной железой сквозь жевательные и лицевые мускулы. Понимаете?

-- Так он очень изуродован?

-- Конечно. Голова вся перевязана. Не видно почти ничего, кроме глаз. Молоко и бульон он должен пить через рожок. Говорить он не может... Но у него есть грифельная доска, -- подождите минутку.

Он посмотрел на нее, на ее печальное лицо. Затем скользнул в комнату больного. Через несколько секунд он опять стоял перед ней, весь красный. Он вытащил из-за спины грифельную доску. Она прочла:

"Кровоопускание не помогло. Я прошу позволения продолжать любить вас. Ваш Неизлечимый".

Внизу было что-то стерто, но от грифеля остались следы. Она разобрала:

-- Я тоже. Нино.

И перед этим двойным признанием в любви она затихла, и глаза ее стали влажны от горячих слез.

* * *

Несколько дней спустя ей позволили войти к нему. Она остановилась у двери.

-- Вас странно укутали, милый друг, -- пробормотала она и прибавила громче:

-- Но я вижу ваши глаза и знаю, что вы очень сильны и очень счастливы.

"В самом деле, -- почти с изумлением думала она, -- этих глаз не окутывает ни один из тех покровов, которые в нынешнее время делают туманными почти все взоры, даже самые здоровые, и уносят их далеко от непосредственной действительности. Его глаза широко открыты жизни; мне кажется, я понимаю это впервые только теперь. Жизнь бросила в эти открытые голубые огни все свои картины, даже отвратительные, даже постыдные, -- но в них не образовалось шлама".

-- Вы изумительно молоды.

-- И сделал порядочную глупость. Драться с человеком, у которого кровь лягушки, и который не дает даже подойти к себе! Ах, герцогиня, сознаюсь вам, я полагаюсь только на первый натиск, не на искусство. Я рубака, вы знаете меня. Я всегда рубил направо и налево; куда-нибудь я да попадал; но и в меня почти всегда попадали. И все-таки я имею за собой значительные удары. Раз...

-- Не приходите в такое возбуждение.

-- Бросили жребий, где кому стоять. Мне досталось более низкое место. Мой противник пытается нанести мне удар в голову. В первый раз я отскочил в сторону, во второй -- отбил квинтой и ответил ударом в плечо. Малый до сих пор еще носит руку в кармане.

-- Теперь тебе больше нельзя говорить, -- сказал Нино, тихо выходя из-за постели. -- Больше двух минут тебе нельзя говорить. Будь спокоен, я сам объясню все герцогине.

-- Прошу тебя, -- улыбаясь, сказала она.

-- Этот господин де Мортель, надо вам знать, человек как без темперамента, так и без честолюбия. При фехтовании у него такие холодные движения, как у англичанина. Он просто держал флорет неподвижно перед собой, и дядя Сан-Бакко, по своей близорукости, наткнулся прямо на него ртом.

-- Что у меня еще есть все зубы, -- пояснил Сан-Бакко, сильно постучав суставом пальца о зубы, -- в этом было мое спасение, иначе он просто пронзил бы мне горло.

-- Но не благодаря своему искусству, -- страстно воскликнул мальчик.

Он схватил палку.

-- Понимаете, герцогиня! Вот так он сделал. Это не был правильный *arresto in tempo*. В сущности это был страх! Он совсем не умеет фехтовать и просто держал перед собой оружие, чтобы дядя Сан-Бакко не мог ничего сделать. Фуй!

Он сердито забегал по комнате.

-- Ты не должен был мириться с ним!

-- Ну, успокойся, -- ответил Сан-Бакко. -- Он написал мне. Я не могу продолжать сердиться на человека мости, который дрался со мной.

-- Так ты его очень ненавидишь? -- спросила герцогиня.

-- А разве он не заслуживает этого?

Мальчик выпрямился.

-- Ведь он чуть не убил моего друга.

Он прислонился к креслу Сан-Бакко и сразу замолк.

Герцогиня сидела с другой стороны.

-- Итак, вот где живут мои друзья, -- сказала она, осматриваясь. -- Здесь все имеет спартанский вид. Железная кровать, стол с книгами, кресло, три соломенных стула: все это редко расставлено на красных плитах. На стене у вас портрет Гарибальди, -- как видно, о вас заботятся.

-- И открытые окна, не забывайте этого. Морской ветер доносится с Ривы по узкой улице и беспрепятственно проникает в мою комнату. Внизу находится площадка, правда, всего в двенадцать метров шириной, но на что мне больше? Воздух, тень, молодость в качестве друга, к этому еще ваша улыбка, герцогиня: я больше, чем богат.

Она молчала, любуясь им.

-- И весь дом наш! -- с важностью заявил Нино. -- Это удивительный дом. Обратите внимание, герцогиня, что каждый этаж включает в себе одну комнату. В нижней -- наша приемная и столовая, над ней живет мама, потом дядя Сан-Бакко, а на самом верху я.

-- Значит, у тебя широкий вид?

-- Все пять куполов Сан-Марко. И почти весь фасад Св. Захария. Но самое удивительное -- это колодезь внизу на нашей маленькой площадке: он восьмиугольный, и у него есть крышка с замком. Каждое утро в самую рань приходит маленький горбун, слушайте только, маленький горбун в остроконечной красной шапке и отпирает его. Это очень таинственно.

-- Ах! -- быстро сказала она, -- маленького горбуна я знаю... Нет, нет, это было раньше. В замке, где я жила ребенком, был один такой. Он гремел

большой связкой ключей, и самого важного из них, ключа от колодца, не выпускал из рук даже во сне... Нино, я могла бы многое рассказать тебе.

Она задумалась. Час отдыха в этой приветливой комнате напомнил ей мирные часы ее собственного детства.

-- Я тоже должен сказать вам так много, так много, -- с воодушевлением ответил Нино. В ее голосе он почувствовал чары, которые захватили его. -
- И особенно, что я вас...

-- А вот и музыка, -- заявил Сан-Бакко, прислушиваясь. Нино подбежал к окну, весь красный и дрожащий.

"Я чуть не проболтался, что люблю ее!" -- думал он, умирая от стыда и досады при этой мысли.

-- Это слепые, -- чересчур громко возвестил он. -- Они расставляют фисгармонию! Настраивают кларнет, скрипку, рог... Труба! Бум! Ну, теперь пойдет!

"Нет, она никогда не узнает этого!" -- поклялся себе мальчик, гордый и бледный, и вернулся на свое место. За окном носилась и рыдала музыка смерти Травиаты. Герцогиня покачала головой.

-- Ну? Что же ты должен сказать мне? -- спросила она, серьезно и дружески глядя на него.

Ему хотелось плакать. В душе он молил ее: "Только не это! Все остальное я скажу тебе". Он подумал минуту, а глубине души боясь, чтобы она не забыла своего вопроса.

-- Например, о славе, -- торопливо сказал он. -- Когда в мастерской господина Якобуса говорят о славе, и не верю ни одному слову. Там вечно толкуют о том, что слава того или другого возрастает или уменьшается. Что за бессмыслица!

Он пожал плечами. Он понимал славу только, как нечто целое, внезапное, не поддающееся вычислению, покоряющее. Его удивляли и преисполняли презрением все рассказы о тайных ходах, ведущих к ней, о суммах, уплаченных за нее, об уступках общественному мнению, о соглашениях с его руководителями, об унижительных домогательствах, о тайном румянце стыда... Нет, слава была таинством.

-- Недавно я прочел, -- торжественно сообщил он, широко раскрывая глаза, -- что лорд Байрон однажды утром проснулся знаменитым.

-- Как это прекрасно! -- сказала герцогиня.

-- Правда?

Его сердце вдруг опять забилось, как тогда, когда он, весь бледный, со вздохом положил книгу.

-- Разве ты хочешь быть поэтом?

-- Я не могу даже представить себе, как это выдумывают какую-нибудь историю. Нет, я не хочу выдумывать историй, я хочу переживать их. Я буду делать, как дядя Сан-Бакко, буду воевать с тиранами, освобождать народы и женщин, переживать необыкновенные вещи.

-- Сделай это, мой милый, -- сказал старик. -- Ты не расквесишься.

-- Но раньше я должен научиться так хорошо фехтовать, как ты.

-- Еще немножко, и ты сможешь дать себя так отделать, как я.

-- Разве у меня хорошие мускулы? -- тихо спросил мальчик.

-- Ведь я тебе говорил уже много раз. И желание иметь их у тебя есть, а это стоит большего, чем сами мускулы!

Музыканты заиграли "Santuzza credimi".

Сан-Бакко и герцогиня слушали. Нино кусал губы и думал:

"Но моей кости он еще ни разу не пощупал. Неужели дядя Сан-Бакко совсем не заметил ее?"

Он называл это своей костью, и каждый раз, как думал об этом, испытывал муки тайного позора. Это был железный прут корсета, который шел под его блузой с левого бока. Ремни охватывали предплечья. Он рассматривал это сооружение по вечерам, тщательно заперев дверь, с серьезными глазами и крепко сжатым ртом. Потом, разом решившись, срывал его, сбрасывал платье и, упрямо подняв голову, подходил к зеркалу.

-- Между грудью и плечами впадина, -- говорил он себе. -- Грудь слишком торчит. Я недавно видел на бронзовом Давиде, как должна выглядеть грудь юноши, -- о, совсем иначе, чем моя... Я должен работать, тогда будет лучше...

И он начинал делать гимнастические упражнения. Но на душе у него было тяжело. Он вдруг опускал напрягшиеся руки и ложился в постель.

-- И если бы этого даже не было, шея слишком тонка. И разве я могу надеяться, что из моих кистей рук когда-нибудь вырастет порядочная мужская рука? Ведь у каждого обыкновенного человека более крепкие кисти, чем у меня. А у дяди Сан-Бакко они как будто из стали.

Собственная неумолимость, в конце концов, ослабляла его; он рыдал без слез. Затем он стискивал зубы, глубоко и равномерно дышал и этим задерживал поток слез.

Днем он иногда размышлял:

"Кто знает, каким я кажусь другим. Может быть, я ошибаюсь; может быть, я особенно хорошо сложен. И если бы скульптор, создавший Давида, знал меня, -- кто знает?"

Это была невозможная, в глубине души сейчас же снова погасшая надежда.

"Высокая грудь -- не признак ли это силы? И во всяком случае у меня красивые ноги, это находят все, я знаю это наверно".

В этом пункте он был уверен.

"Остальное срастется, -- сказал врач. -- Да и в платье ничего не видно. И я закаливаю себя. Я научусь переносить голод и колод, делать тяжелую работу, далеко плавать и еще многому"...

Но во время гимнастических игр он проявлял себя малоспособным. Момент, когда надо было прыгнуть вперед и поймать противника, он большей частью упускал, так как стоял и мечтал. В мечтах он воображал себя генералом и заставлял своих товарищей нападать на черный лес, полный страшных врагов. Или же он приказывал им карабкаться по мачтам корабля, в который превращались стены школьного двора. В конце концов, он приходил в себя, возбужденный и бледный. Остальные были красны, они победили или были побеждены! Нино не сделал ни того, ни другого.

"Ах, -- думал он в порыве отрезвления и нетерпения. -- И генералом я тоже никогда не буду. Вообще, я думаю, меня совсем не возьмут на военную службу. Я не могу себе представить этого".

В действительности он испытывал перед военным строем ужас, в котором не хотел себе признаться; перед гражданскими союзами тоже. Когда он слышал о чьей-нибудь женитьбе, он с удивлением и любопытством думал: "Неужели и я когда-нибудь женюсь? Я не могу себе представить этого". Или он видел похороны. "Я должен исчезнуть как-нибудь иначе. Со мной это не может произойти так. Я не могу себе представить этого".

Слепые перестали играть. Сан-Бакко еще раз просвистал последние звуки, слабо, с трудом двигая губами:

-- Проклятая повязка!.. Нино, это была хорошая музыка?

-- Отвратительная!

Он вздрогнул. Каждая из его дурных мыслей соединилась с каким-нибудь звуком, нераздельно слилась с ним. И это случайное совпадение нескольких нот с мучительным раздумьем превратило для мальчика несколько безразличных тактов в лес пыток.

"Я никогда не буду больше слушать этого", -- решил он про себя.

Он с неудовольствием прошелся по комнате на кончиках пальцев танцующей походкой.

-- У меня красивые ноги? -- вдруг спросил он с тоской в голосе.

-- Не сомневайся! -- воскликнул Сан-Бакко. Это было его первое громкое слово.

-- Я люблю тебя! -- сказала герцогиня. -- Иди-ка сюда... Так. Ты должен еще многое рассказать мне. Ты можешь говорить мне "ты" и называть меня по имени.

Он одним прыжком очутился возле нее.

-- Это правда? -- тихо спросил он, боясь, чтобы она не взяла обратно своего слова. -- О, Иолла!

-- Иолла? Это уменьшительное имя?

Он только теперь понял, что сказал, и начал, запинаясь:

-- Я уже давно придумал это имя, про себя, -- Иолла вместо Виоланты. Вы понимаете... Ты понимаешь...

"Я должен теперь смотреть ей в глаза, -- сказал он себе. -- Теперь она поймет все".

В это время с улицы донеслись крики и аплодисменты. "Да здравствует Сан-Бакко! Гимн Гарибальди!" сейчас же понеслись его звуки, радостные, легкокрылые, -- солнечный вихрь, шумевший и свистевший в складках знамен.

-- И это музыка! -- сказал Сан-Бакко.

Нино исчез. Герцогиня видела из окна, как он бежал по площадке, и как его торопливые шаги отчаивались догнать счастье: неслыханное, единственное счастье, вырывавшееся из коротких красных губ мальчика и несшееся пред ним. "Неужели это правда, неужели я в самом деле сейчас переживу это... это... это?".

Наконец, он очутился возле слепых музыкантов. Он стоял, не шевелясь, заложив руки за спину, и наслаждался громом, грохотом, пронзительным свистом, диким, радостным, безудержным шумом с его победной пляской. Его возлюбленная сверху видела, как уносился его дух на ударах труб и волнах звуков рога. Где был он теперь, неугомный? Он вступал триумфатором в завоеванное царство. В головах у него взлетали кверху золотые орлы. Его колесница двигалась по трупам, -- нет, это не были трупы: они тоже вставали и ликовали.

"Теперь я возле него, -- думала, герцогиня, грезя вместе с ним. -- Я подаю ему венок"...

Но в это мгновение лицо мальчика превратилось в лицо мужчины. У него тоже были короткие, своевольные губы, красные от желаний. Она и не заметила этого и только улыбнулась.

-- Ты все-таки хочешь быть поэтом? -- сказала она вошедшему Нино.

-- Нет, нет, -- устало ответил он; ему как будто было холодно. -- Кем я собственно хочу быть?.. Иолла, ты знаешь это? Солдатом? Поэтом? Борцом за свободу? Моряком? Нет, нет, ты тоже не знаешь этого! Из меня, ах...

Он прошептал, ломая руки:

-- Из меня не выйдет ничего. Разве я буду когда-нибудь другим, чем теперь? Я не могу себе представить этого.

Она схватила его за кисти рук и посмотрела на него.

-- Только что ты слышал нечто очень великое. Это прошло, ты чувствуешь себя покинутым, застрявшим на месте, не правда ли? Но поверь, все великое, что мы в состоянии чувствовать, наше. Оно ждет нас на пути, по которому мы должны пройти. Оно склоняется к нам со своего пьедестала, оно берет нас за руку, как я тебя...

-- И меня, -- сказал Сан-Бакко, вкладывая свою руку в ее. -- Со мной было то же самое. Какой бурной была моя жизнь! А теперь, когда я стар, мне кажется, что я ехал на завоеванном корабле по гигантской реке. На берегу мимо меня проносились безумные события. Боролся ли я? Прежде я поклялся бы в этом. Теперь я не знаю этого.

-- Вы боролись! Или бог боролся через вас! Ах, мы никогда не сознаем достаточно ясно, как высоко мы стоим, как мы сильны и незаменимы! Верь этому всегда, Нино!

-- Я ухожу, -- объявила она. Она поправила в стакане розы, которые принесла, поставила на место стул и взбила подушку на постели Сан-Бакко.

-- Вы балуете нас, герцогиня, -- сказал он. -- Вы заставляете нас думать, что мы трое -- друзья.

-- А разве это не так?

"Нет, -- подумал Нино, -- для этого ты заставляешь меня слишком страдать, Иолла".

Он страдал оттого, что она касалась его рук, и оттого, что она выпустила их; оттого, что она пришла, и оттого, что она уходила.

-- Тогда пойдемте с нами гулять, -- сказал он, сильно покраснев. -- Мы покажем вам в Венеции многое, чего вы, наверно, не знаете: черные узкие дворы, где живет бедный люд, и где вам придется поднимать платье обеими

руками. Там есть, например, каменный мешок; из него выглядывает голова утопленника, совершенно распухшая, и выплевывает воду.

-- Или наш дворец, -- сказал Сан-Бакко.

-- Да, дворец, который мы хотели бы купить, если бы у нас были деньги, у дяди Сан-Бакко и у меня. Он совсем развалился и погрузился в воду между широкими кирпичными стенами, которые густо заросли кустарником. В одном углу находится ветхий балкон с острыми углами и колоннами. Оконные рамы похожи на луковицы, на стене яркие резные каменные розы -- и верблюды; его ведет маленький турок. Что это за турок, Иолла! Ты ведь не думаешь, что это был обыкновенный человек. О, в этом доме происходили странные вещи.

-- Конечно, -- подтвердил Сан-Бакко. -- Нино рассказал мне о них, и я поверил в них так же добросовестно, как он верит в мои похождения. Взрослые делают вежливые лица, когда я говорю о себе. Времена так переменялись; теперь считают едва возможным, что существовали такие жизни, как моя. Только с мальчиками, которые еще не научились сомневаться, -- я среди своих.

-- Вот так мысль! -- сказал он затем, тихо смеясь. -- Вот вам результат того, что уже неделю я не двигаюсь. Но разве я в самом деле не принадлежу к мальчикам, раз я не сумел употребить парламентские каникулы на что-нибудь лучшее. При встрече коллеги будут трясти мне руки и поздравлять с геройским подвигом, а в буфете смеяться надо мной. Эти буржуи знают, какую борьбу с ветряными мельницами я веду. Они так тесно связали угнетение и эксплуатацию с свободой и справедливостью, что нельзя достичь первых, не убив вторых. Я хотел бы вернуть своих добрых старых тиранов. Они лицемерили меньше, они были более честными плутами. Теперь я почти не в состоянии любить обманутый народ. Он стал слишком трусливым, а я слишком бессильным. Я стыжусь перед ним и за него. Совесть мучит меня, когда он выкрикивает мое имя, как раньше там, внизу. Я хотел бы, чтобы он привлек меня к ответственности...

-- Выздоровливайте! Все великое, что мы в состоянии чувствовать...

-- Наше, -- закончил он. Его глаза засверкали.

Когда она ушла, они молча посмотрели друг на друга.

-- Я все время был необыкновенно счастлив, -- заликовал вдруг мальчик.

-- Мы счастливы и теперь, -- сказал Сан-Бакко.

-- Конечно.

И Нино перепрыгнул через стул. Каким счастьем было даже страдание! Пока она была здесь, каждая мысль поднималась выше и окрашивалась ярче, каждое чувство волновало горестнее или сладостнее. Это едва можно было понять.

* * *

В своей гондоле она приказала, не задумываясь:

-- Кампо Сан-Поло.

Она вошла в большую парадную мастерскую, совершенно не зная за чем пришла. Ей сказали, что маэстро один. Как только докладывали о приходе

герцогини, Якобус тайком поспешно отпускал через заднюю дверь всех своих посетителей. Она застала его перед мольбертом, погруженного в работу.

-- Это прекрасно, -- сказала она.

-- Эта картина стоит пятнадцать тысяч франков, это самое прекрасное в ней.

-- Но я чувствую ее.

Он посмотрел на нее.

-- Ах, вот как. Сегодня вы были бы способны чувствовать всякую мазню. Вы полны счастья и доброты. Откуда это вы?

-- Не будьте ревнивы, мой милый. Вы видите, я расположена к вам.

На его лице выразилось недоверие и желание.

-- Так расположены, как я этого хочу -- навряд ли.

-- Почти так. Оставим более точное определение.

Он багрово покраснел.

Она открыла объятия. Медленно и спокойно вошла своими мелкими шажками маленькая Линда. Герцогиня обняла девочку, опустилась на колени подле нее, гладила ее руки, прижалась щекой к жесткой серебряной вышивке ее холодного, тяжелого платья.

-- Я люблю тебя, маленькая Линда, -- сказала она и подумала: "Потому что ты его дитя!.. Это он тот человек, у которого такие же короткие красные губы как у Нино, и которому я подала веночек вместо того, чтобы надеть его мальчику. Сан-Бакко может любить даже в семьдесят лет; Нино дрожит от стремления к красивой жизни. Они оба немного смешны, я знаю -- старик, напыщенный и весь перевязанный, мальчик, слабый и такой же напыщенный. Как я люблю их! Какою нежностью проникаюсь я под их обожающими взглядами! Потом я иду и говорю этому Якобусу, что я расположена к нему. Он этого не заслуживает, но..." -- "И к тебе тоже", -- повторила она громко, крепче прижимая к себе маленькую Линду. Девочка смотрела на коленопреклоненную непонимающим, холодным взглядом.

-- Не шевелитесь! -- крикнул художник. -- Одну секунду! Вот оно!

Он схватил уголь; в то же мгновение она точно застыла. Она смотрела, как он с бурным ожесточением набрасывал на полотно застывшую форму чувства, которое уже исчезло.

-- Это опять удалось мне, -- сказал он со вздохом и сейчас же начал писать. Она смотрела на картину; только теперь она узнала от него, что пережила момент скорби. Ее темная голова со страстной тоской прижималась к неподвижному, искусственному созданию из серебра и перламутра.

-- Герцогиня Асси и Линда Гальм, -- это будет одной из моих самых популярных вещей, -- уверял Якобус. -- На фотографии с нее будет огромный спрос, в художественном обороте она будет называться просто "Герцогиня и Линда"... Я горжусь этим, герцогиня, но не гордитесь ли и вы немножко?

-- Тем, что вы делаете меня знаменитой? Вы придаете этому слишком большое значение, мой милый. Я была знаменита своими причудами,

прежде чем стала знаменита своими картинами. Прежде меня называли политической авантюристкой, теперь -- поклонницей искусства, -- а как меня будут называть впоследствии, не знаете ни вы, ни я. Вы совершенно неповинны во всем этом. Я просто живу, и все совершается, как должно.

-- Значит, вы не обязаны мне решительно ничем, герцогиня? В самом деле ничем? Что я сосредоточил все свое искусство на вас, не обязывает вас ни к чему? Что я сделал свою жизнь односторонней и свое искусство тоже...

-- Ограниченным и сильным. Если бы вы не рисовали "Герцогини и Линды", как большой художник, вы рисовали бы всевозможные вещи, но в стиле всех остальных.

-- У вас находятся доказательства, потому что вы холодны. Но для меня вы сделали роком, и когда-нибудь вы выплатите мне мой долг. Я жду.

-- Утештесь. Вы ждете не напрасно. Каждый, кто способен к сильному чувству, будет когда-нибудь услышан. Не существует желанных и отверженных: только любитель самоистязаний хотел заставить меня поверить этому. Не надеется на любовь только тот, кто сам не умеет любить... Но кто говорит вам, что именно я буду любить вас? Я ваш рок, прекрасно; это меня несколько не трогает, как не трогало вас, когда голос Лоны Сбригати приобрел трагический тембр.

-- Это нечестно! -- воскликнул он, искренне возмущенный, и положил кисть. -- Вы чувствуете себя неуверенной, -- говорил он, -- поэтому вы поступаете нечестно. Лона Сбригати, говорите вы, приобрела талант из-за меня, вы же, герцогиня, убиваете мои лучшие творения, потому что отвергаете мою любовь. И вы живете для искусства!..

-- Вы своенравны, как ребенок!

Она покачала головой.

-- Клелия Мортейль не получает от вас ни таланта, ни любви. Она навязала себя вам, говорите вы, но вы же взяли ее. Вы берете слишком много, друг, и требуете еще больше. Ваша жена тоже...

-- Моя жена счастлива! -- с горячностью воскликнул он. -- Очень счастлива!

-- Я не знаю ничего о вашей жене. Но я не доверяю счастью, которое исходит от вас.

-- Это верно... Между мной и моей женой не все в порядке... Мы разошлись, -- но я объясняю вам, почему. Во-первых, жена художника должна быть ограничена, должна быть способна верить в откровение. Ее откровением должен быть ее муж. Моя же жена любила поучать; она хотела "работать со мной". Я заметил это еще перед свадьбой и испугался. Но она любила меня такой невыразимой, прямо-таки болезненной любовью, а я не так силен, как вы думаете. Я женился на ней. Но вскоре после свадьбы у нее выпали почти все волосы. Тогда все было кончено.

-- Все было кончено?

-- Я могу побороть все, но не физическое отвращение.

-- Из-за редких волос вы отталкиваете женщину?

-- Редкие волосы! Вы не знаете, какую отвратительную вещь вы говорите. Густые длинные волосы для меня символ пола женщины, ее власть

сверкает диадемой в длинных косах. Женщина с редкими волосами -- бесполое, отталкивающее существо. Я не хочу ее ни в своей спальне, ни на полотне. Я рисую истерию и бессильный порок, я рисую зеленоватые распухшие глаза и развратный лоб какой-нибудь фрау Пимбуш из Берлина, но никогда я не буду рисовать редких волос!

Он был вне себя.

-- Ведь это своего рода безумие, -- сказала она, пожимая плечами. Но ей было почти страшно.

"Так вот почему он терпит Клелию, -- думала она. -- Потому что у нее прекрасные густые волосы... И если ее прическа когда-нибудь покажется ему недостаточно мягкой и глубокой, чтобы запечатлеть на ней холодный поцелуй..."

-- Никогда! -- повторил он, напыжившись. -- Неужели вы думаете, что я мог бы работать под взорами женщины, которая физически оскорбляет меня? Перед кем у меня больше обязанностей -- перед каким-то существом, которое вторглось в мою жизнь, -- или перед искусством?.. Кто же признает меня правым, если не герцогиня Асси?

Он подошел ближе и доверчиво и вкрадчиво понизил голос.

-- Не считайте меня слишком жестокосердным. Эта женщина в самом деле не несчастна, ведь она может любить меня. Она может писать мне, может всюду говорить обо мне. С газетами, в которых помещены снимки с моих картин, она бежит из одной гостиной в другую. На моих выставках она продает билеты. Она всем надоедает мною, у нее мания ставить живые картины по моим произведениям.

-- Эта женщина трогательна, я хотела бы знать ее.

-- Гм... Она выигрывает на расстоянии. Но она счастлива, поверьте мне, ведь она любит меня такой невыразимой, почти болезненной любовью.

-- Да, пожалуй, счастливее нас обоих, -- сказала герцогиня, не успев обдумать свои слова.

Он смотрел на нее, оцепенев.

-- Совершенно верно, -- счастливее нас.

И, вдруг развеселившись:

-- Но я еще получу свое! Послушай, Линда, она еще выплатит мне то, что я должен получить.

Он осыпал изумленную девочку бурными поцелуями.

В то же мгновение на порог ступила чья-то нога; и очень бледный, с поднятой головой и легкой улыбкой выражавшей смесь растерянности и презрения, появился Нино.

-- Здорово, мой милый мальчик! -- воскликнул Якобус.

Мальчик поцеловал герцогине руку, не глядя на нее.

-- О, я пришел только -- только взять урок, -- холодно сказал он, подходя к окну.

Герцогиня вдруг пожалела обо всем, что успела сказать в эти полчаса. Она не понимала больше, как могла сидеть здесь.

"Я изменила ему, -- думала она. -- Это ребячество, но это верно".

Она рассматривала профиль мальчика и вместе с ним обвиняла и осуждала себя. Она с горечью чувствовала, что изменила ему, ему и его большому другу, подобно обыкновенной женщине, какой она не была в его душе. Она была любимой далью, сказочной целью, где среди серебряной паутины месяца и звона арф, над сверкающими террасами и черно-голубыми кипарисами высоко взлетало невозможное чувство, высокая, как небо, струя, никогда не падавшая назад.

Якобус принес какой-то рисунок, вставил его в рамку и, отойдя немного, стал испытующе рассматривать.

-- Посмотрите-ка, что сделал этот малый! Что ж, сегодня молодой маэстро не соизволит бросить на это взгляда?

Он обнял Нино за шею, любовно, как старший брат. Мальчик терпел это прикосновение, высоко поднимая плечи. Он дал подтолкнуть себя к мольберту. Вдруг он выпрямился.

-- Это не мое, -- сказал он тихо и решительно.

-- Что это он болтает? Это не его?

-- Это не мое. Вы исправили это.

-- Исправил -- исправил... Ведь я твой учитель...

-- Не только исправили. То, что я сделал, вообще никуда не годилось.

Его взгляд оторвался от рисунка, коснулся сначала художника, затем упал на лицо герцогини, тяжелый и печальный. Они оба испугались и отвели глаза.

"Он догадывается, -- сказала она себе. -- Он догадывается о вещах, которых не знаю я сама. И которых не хочу знать", -- прибавила она в немом возмущении. Она встала.

Якобус не знал, что ответить Нино. Неожиданно, на мгновение, он понял ясно все, что произошло и что сделал он сам.

-- Он прав, этот мальчик, я вбиваю ему в голову, что у него есть талант. Я хочу сделать его своим другом, потому что герцогиня любит его. Поэтому я обнимаю его и показываюсь ей вместе с ним. Нечто от ее благоволения падает и на меня. И ведь он только мальчик. Он помогает... для меня.

-- Нино, теперь рисовать! Рисовать теперь! -- крикнул он, подхватив мальчика и кружась с ним по комнате.

"Ба! -- подумал он. -- Он не имеет понятия обо всем этом. Это глупости"...

И он сейчас же забыл об этом.

Нино разложил на столе свою работу; он молча рисовал, нагнувшись над ней. "Ах, Иолла, Иолла", -- звучало в его душе. Сердце у него болело. "Ах, если бы я не пришел, все было бы так, как раньше, всего час тому назад, в нашей комнате... Я не знаю, что произошло с тех пор. Что-то ужасное, но я не понимаю, что именно"... И где-то внутри, из самой глубины его страдания, коварно поднималось желание: "О, Иолла, если бы я совсем не любил тебя"...

"Нет, нет! -- крикнул он себе. -- Я буду любить тебя до самой смерти. Но этого человека я ненавижу вместе с его театральным атласным камзолом".

Якобус заглянул ему через плечо.

-- Да ты делаешь успехи! Герцогиня, посмотрите-ка... дело начинает идти на лад. Теперь уже нечего сомневаться, что-нибудь из него да выйдет!

Он болтал от радости. Успехи его ученика веселили его, как неожиданное оправдание.

-- Что же ей еще нужно, Нино, этой герцогине! Мало того, что я сам в угоду ей стал большим художником, -- каждый делает, что может... Но теперь я сделаю художника и из тебя, чтобы впоследствии, когда мои руки начнут дрожать, был кто-нибудь, кто следил бы за ее красотой и прославлял ее. Правда, я верный слуга, Нино? Как ты думаешь, она выплатит мне когда-нибудь мой долг, наша герцогиня?

Мальчик поднял глаза.

-- Этого я не знаю, это ваше дело, -- дерзко сказал он. Он думал:

"Когда дядя Сан-Бакко ненавидит кого-нибудь, он дает ему заметить это. Дольше так не может идти".

-- Я хотел вам сказать, что с меня довольно рисовать. Я не делаю никаких успехов, вы только так говорите. Я никогда больше не приду. Я вообще не хочу быть художником.

-- Что такое? Я ничего не слышал. Значит, ты ничего не сказал.

-- Нино, -- сказала герцогиня, -- а ты думаешь о том, что твоя мать лежит дома, что она больна и не должна ничего знать об этом? О том, что ты хочешь отказаться от искусства?

Она просила; он слышал это. Он слышал также, что она прибегла к имени его матери, чтобы просить для себя самой.

-- Ах, вы, с вашим искусством! -- произнес он медленно, страдальчески и упрямо, не поднимая глаз от земли.

-- Ты хотел бы лучше воевать, я знаю, -- совершать великие подвиги и переживать необыкновенные вещи. Но пойми, что все это дает искусство, что теперь все это дает почти только искусство. Посмотри, даже одеяние великих времен, -- кто носит его теперь. Художники.

Мальчик бегло, не поднимая головы, оглядел своего врага. "Я невероятно невоспитан", -- подумал он, -- "но это должно быть", -- и он презрительно фыркнул.

-- Я тебе не нравлюсь? -- спросил Якобус.

-- Тогда, -- прибавила герцогиня, -- у художников была причина бояться друг друга. Они носили за работой мечи.

-- А очки? -- спросил Нино. -- Вот видите, одно не подходит к другому.

Якобус покраснел и отошел в сторону.

-- Пойдем, моя Линда, уйдем потихоньку. Нам стыдно.

-- И ему, в самом деле, стыдно! -- воскликнула герцогиня, смеясь. Она была благодарна обоим за эту откровенную перебранку. Она отогнула обеими руками голову мальчика назад, так что он должен был посмотреть ей в глаза.

-- Посмотри-ка, ведь он тоже мальчишка -- как ты. Поэтому ты можешь обидеть его тем, что он носит очки. Что вы за мальчуганы!

Мальчик повернулся к художнику и сказал громко и дрожа.

-- Простите меня, пожалуйста! -- Тебя, Иолла, я обидел еще гораздо, гораздо больше. Ах, ты даже не можешь знать, как.

Он вдруг почувствовал себя размягченным, неспособным заставить страдать человека и счастливым своей слабостью. Рука его возлюбленной еще лежала на его лбу, он совершенно не чувствовал ее, так легка была она. В своем смятении он готов был думать, что там сидит белая, волшебная голубка.

-- Иолла! -- прошептал он, закрывая глаза.

-- Значит, опять друзья? -- спросил Якобус, протягивая Нино руку.

-- Да, -- ответил мальчик тихо и покорно.

Якобус обхватил рукой его шею и запрыгал с ним по комнате.

-- Рисовать нам уже не придется. Уже темно.

Он поймал Нино и заставил его прыгать, как собачонку. С ним и игрушечным паяцом он разыграл перед герцогиней целую комедию. Нино проявил большую ловкость; он думал: "Она молчит? Она думает, что я недоволен?" Он громко и сердечно рассмеялся ей в лицо, и она ответила тем же.

Якобус, наконец, остановился, упираясь рукой в бедро и грациозно изогнув ногу; кудри его растрепались. Он глубоко перевел дыхание. Он чувствовал себя молодым; он чувствовал: "Отроческие прелести стройного Нино будут все засчитаны в мою пользу. Герцогиня видит только меня".

-- Нино! -- воскликнул он, обезумев от торжества. -- Герцогиня теперь настроена милостиво, я вижу это. Поди к ней и попроси ее, чтобы она выплатила мне мой долг! Пойдешь?

-- Что за ребяческое упорство! -- пробормотала герцогиня.

"Еще и это", -- сказал про себя мальчик. Он опять на секунду закрыл глаза. Бледный, в упоении самопожертвования, подошел он к ней. Он взял ее руку; его губы, его дыхание, его ресницы ласкали ее.

-- Отдай господину Якобусу его долг! -- твердо сказал он.

-- Этого ты не должен был говорить.

Она обернулась и увидела у двери Клелию Мортель.

-- И вы здесь? -- воскликнул Якобус. -- Это чудесно. Мы как раз играем. Будем веселы!

-- Я очень рада. Продолжайте свою игру, -- медленно и беззвучно ответила Клелия. Она села спиной к окну. Все вдруг замолчали. Сумерки сгущались. Якобус принужденно сказал:

-- Синьора Клелия, мы видим только ваш силуэт, -- и в нем есть что-то странно жуткое.

Ее голова задвигалась легкими толчками.

-- Что с вами? Вы без шляпы? Вы были в церкви? Вы идете в концерт?

Ответа не было.

Маленькая Линда прижалась к отцу, Нино стоял в ожидании.

-- Ах, ты, Нино Свентателло! -- громко и весело крикнул Якобус. -- Для игры слишком темно. Я расскажу тебе сказку.

Он привлек девочку и мальчика к себе и усадил их по обе стороны от себя на низкую скамью у подножия длинного резного сундука. Герцогиня стала перед ними.

-- Нино Свентателло -- это сказка об одном мальчике, который спал на ступенях колодца, потому что у него не было постели. Когда в одно прекрасное утро он проснулся, ему принадлежал Рим: одному важному господину, возвращавшемуся домой на рассвете, понравились его белокурые кудри и тень вокруг его сомкнутых век. Он приказал отнести его в свой дворец и позаботился о том, чтобы ему с крайней осторожностью надели новое платье: белые шелковые башмаки, чулки и штаны, красную куртку, зеленый шитый камзол, -- он надеялся, что, когда Нино проснется в этом княжеском наряде, он будет вести себя очень смешно.

Но Нино, как только открыл глаза, рассмеялся сам от удовольствия, увидя кавалеров, которые приветствовали его. Их парики волочились на пол-локтя по земле, так низко кланялись они. Он сейчас же потянулся с такой грацией; лакею, пролившему шоколад, так ловко дал пощечину и сел с такой уверенностью на любимую лошадь важного господина, что этот последний, наконец, сказал: -- Постой! Ты держишь себя так, как будто ты принц! -- Вы так думаете? -- ответил Нино. Господин понял шутку. -- Ты будешь им в самом деле. Но прежде ты должен доказать, что обладаешь мужеством, благовоспитанностью и красноречием. Обладать этими вещами легко для того, кто уже носит платье кавалера. Поэтому ты должен выказать их в твоём старом платье. -- В старом? Я никогда не носил ничего старого. Ему надели его старое платье. -- Я согласен на этот маскарад, -- сказал Нино. Он посмотрел на кучера господина: -- Это очень сильный человек, я рискну.

Когда господин проезжал со своей прекрасной дочерью, Нино лег на дорогу, подставив шею прямо под правое колесо. Справа сидела молодая девушка, она испуганно вскрикнула. Кучер натянул поводья, колесо коснулось шеи Нино. Господин хотел выскочить, но девушка удержала его: -- Ты так тяжёл, экипаж накренится, и он погиб. -- Между тем, как лошади били копытами у его головы, Нино говорил:

-- Вы знаете меня, прекрасная принцесса: я один из мальчиков, которые стояли у золотой дверцы вашей ярко расписанной шелковой колесницы и протягивали руку: но я опустил свою, потому что ваши глаза были так огромны и так сини. Вы знаете меня, я один из мальчиков, которые у кухонного окна вашего дворца вдыхали запах кушаний, заедая коркой черствого хлеба. Но наверху, у вашего окна я увидел кусочек белого плеча с золотым локоном на нём -- и предоставил свой хлеб другому. Вы знаете меня, я один из мальчиков, которые обхватывали руками золотые прутья решетки вашего парка, когда на пестрых лужайках кавалеры и дамы играли в мяч. Но я увидел, как развевались ваши золотые локоны и как носилась по цветам, не причиняя им никакого вреда, ваша легкая фигура, -- и обхватил прутья ещё крепче, иначе я перескочил бы через решетку, вмешался бы в блестящее общество и упал бы к вашим ногам. И так как я не придумал ничего другого, я лежу теперь под золотыми колесами вашей

нарядной коляски и говорю вам, как вы прекрасны и как я люблю вас. (При этом голос Нино дрожал, потому что то, что он говорил, было правдой, -- или он думал, что это правда; он сам уже не знал этого). И сейчас ваш кучер, хотя он и очень силен, не сможет больше сдерживать лошадей, и я умру за вас. Потому что люди, толпой окружающие меня, остерегутся вытащить меня из-под колес. Они слишком любят красивые речи и слишком жадны до интересных зрелищ, чтобы прежде времени положить конец этой увлекательной и захватывающей сцене.

-- Но я сделаю это! -- воскликнула молодая девушка, выпорхнула из экипажа и подняла Нино. -- "Кто ты? -- Я принц Нино, ваш батюшка знает меня. -- Важный господин рассердился: -- Что это за комедия? Что ты выдумываешь, бродяга? -- Нино ответил спокойно и с достоинством: -- Вы хотели, чтобы я разыграл комедию бродяги. Я, принц, должен был доказать, что и в платье бродяги обладаю мужеством, благовоспитанностью и красноречием. Разве не мужество, что я кладу шею под колеса коляски, запряженной двумя дикими жеребцами? Разве не благовоспитанно, что я делаю это в честь дамы? И не засвидетельствуют ли все присутствующие, что я даже в необыкновенной и опасной позе умею говорить?"

Господин расхохотался, приказал опять надеть Нино платье принца и женил его на своей дочери.

Якобус кончил; он с гордостью услышал, как мальчик возле него глотал слезы. "Она должна была бы видеть это", -- подумал он. Нино думал: "Господи, что если теперь принесут огонь! Ведь у меня мокрые глаза". Он не смел пошевелиться; в комнате царила тишина.

-- Синьора Клелия, вам понравилась сказка? -- спросил Якобус.

Все ждали. Наконец, из темноты донеслось тоном раздраженного ребенка:

-- Я не знаю. Мой отец умирает.

-- О! О!

Якобус бросился к ней, он обнял ее в темноте так крепко, как будто хотел оторвать от порога могилы.

-- Почему ты не сказала этого раньше? -- пробормотал он. -- Почему ты не дала утешить себя? Ведь я -- твой.

-- Я пришла к тебе, да, -- но это была ошибка. У меня нет никого. Я совсем одна. Ты, может быть, думал обо мне, когда... раньше вы были так веселы?

Он выпустил ее и велел принести огонь. Он забегал по комнате.

-- Герцогиня, не принимайте этого близко к сердцу, умоляю вас.

Как только стало светло, герцогиня бросилась к Клелии.

-- Я потрясена, -- несколько раз тихо сказала она.

-- Нет, нет, я совсем одна, -- упрямо повторяла молодая женщина, не сдаваясь. Она не хотела возбуждать участия, она не думала больше о том, чтобы изображать, как раньше, приятную картину жалующейся нимфы. Она не хотела видеть в глазах других отражения своей прелестной мечтательности. Наконец-то ее не должны были больше находить милой. Нет, она хотела быть совсем не милой, совершенно отвергнутой, лишенной

человеческого сочувствия и сердечности! В качестве единственного утешения она стремилась к тому, чтобы вносить холодок жути и страха в жизнь счастливых, ограбивших ее.

-- Мы пойдем туда, не правда ли, герцогиня? -- спросил Якобус. -- Синьора Клелия, мы не оставим вас.

-- Это лишнее.

Герцогиня обхватила снизу ее беспомощно протянутые, отстраняющие руки.

-- Он умирает? Вы не поверите, как я боюсь этого!

Ее неожиданная страстность поразила Клелию.

Якобус смотрел на них; он вдруг присмирел.

-- Остаься здесь, -- попросил он Нино. -- Остаься с маленькой Линдой.

И они ушли.

* * *

В воздухе было что-то тягостное. Небо разливалось темным пламенем, точно огненный поток из расплавленных небесных тел. Мрак тесных улиц был усеян яркими пятнами: качающимися цепями светящихся разноцветных бумажных шаров и волнующимися рядами девушек в платках -- синих, желтых, розовых. Народ праздновал день своего святого. Он двигался взад и вперед, в чаду от жарившегося масла, среди пьяного смеха, влюбленных призывов, заунывных мелодий гармоник и задорных песен мандолины.

Они быстро прошли сквозь праздничную толпу, думая об умирающем.

Клелия возмущалась:

-- Я не хочу. Я должна потерять сразу возлюбленного и художника. Я буду бороться, я буду злой, отвратительно злой.

И она с яростью думала, против кого направить свою злость.

Якобус бежал от нетерпения.

"Этот старик невыносим. По какому праву он умирает и мешает мне? Наконец-то мне предстоит овладеть женщиной, которой я добился с Таким трудом; как смеет случиться что-нибудь раньше этого!.. И ей страшно -- как и мне".

Она спрашивала себя:

"Почему я боюсь этого мертвеца? Кто был он? Один из служителей в храме богини! Правда, он не мечтал робко и блаженно, как Джина; не привешивал тяжелых венков, не сжигал ароматных трав и не извлекал звуков из больших золотых лир, как это хотела бы делать я. Он был властолюбивый и скупой жрец, который за вышитым совами занавесом считает золотые монеты. Он ломал работающих, он выжимал из них последнюю силу. Что он делал с Проперцией! И все-таки у меня теперь такое чувство, как будто он оставляет меня одну и в опасности, как оставила меня Проперция. Я остаюсь одна с тщеславными фатами, как Мортель, с леди Олимпией, развратной авантюристкой, с Зибелиндо, врагом света. Сан-Бакко является, как гость; он оставил за собой все подвиги и умеет почитать. Но мальчик Нино еще не может

довольствоваться поклонением; его еще только тянет к подвигам... И я сама чувствую что-то в себе, что-то горячее и неумолимое гонит меня из торжественной галереи вниз по высоким ступенькам, о которые разбиваются волны непосвященного народа. Я уже исчезаю в них, я уже погибла.

Ее пугала безрассудная толпа, колыхавшаяся и толкавшаяся вокруг нее. Они взошли на пароход и доехали до Са d'oro. Когда они вошли в переулок возле палаццо Долан, навстречу им попались три молодые девушки. Три парня наклоняли сзади покрасневшие лица к медно-красным узлам волос и громко распевали у самых золотистых шей что-то нежное, что заставляло девушек смеяться. Одна из девушек держала между зубами розу. Она вдруг обернулась к своему поклоннику и губами бросила ему розу прямо в рот. Герцогиня видела это, входя в портал.

У подножия лестницы толпились слуги. Они вздрогнули при виде своей госпожи.

-- Что случилось? -- спросила Клелия.

Слуги подталкивали друг друга, корчились, заикались.

-- Джоакино, у тебя разорван пиджак... Твое платье совершенно мокро, Даниэль.

Между величественными пустыми мраморными перилами вниз спорхнул с сознанием своего достоинства маленький, нарядный человечек.

-- Графиня, я приветствую вас. Вы пришли вовремя.

-- Доктор, что с моим отцом?

-- Он чувствует себя хорошо, графиня.

-- Он останется жив?

-- Успокойтесь, -- легко бросил врач. -- Правда, он не будет жить, но он перейдет в вечность во сне... Ах, вот что...

Он прервал себя.

-- Вас удивляет вид людей. Это ничего. У нас только что был маленький пожар в комнате больного... Боже мой, это, очевидно, произошло в момент необъяснимого подъема сил... Меня как раз не было. Граф встал с постели, я спрашиваю себя, как? Он поджег с помощью обыкновенной жестянки с маслом картины на высоких подставках у кровати, столетние шедевры. Эти старые, сухие рамы, этот высохший пергамент, все это вспыхнуло, как солома. Я прибежал вовремя и позвал слуг. Я счастлив, графиня, что оказал услугу вашему дому. Конечно, несколько терракот лопнуло, несколько картин сгорело.

-- А мой отец?

-- Граф лежал на полу и раздувал пламя. Его рубашка загорелась. Успокойтесь, графиня, ничего не произошло; все обстоит по-прежнему. Моему искусству удалось сохранить графу жизнь, по крайней мере, на ближайшие полчаса. За ближайшие полчаса нам нечего бояться, -- или почти нечего: можно ли когда-нибудь знать? Я должен теперь отправиться на важный консилиум, но я сейчас же вернусь. Мое почтение, графиня.

Они поднялись наверх. Умиравший лежал среди большого зала, головой к входу, зарывшись в подушки. С высоких разрушенных мольбертов из

черного дерева и бронзы к постели стекал широкий поток старинных драгоценностей. Рамы почернели и потрескались, обожженные полотна свернулись. Пахло горелым тряпьем. Среди всего этого опустошения жалобно простирала кверху руки Ниобея. Герцогиня узнала в продырявленной картине, на которой стояли ноги статуи, свой собственный портрет. Она наступила на яркие обломки и сказала себе, что здесь красота и величие жили три -- четыре сотни лет, -- чтобы погибнуть у ее ног.

-- Почему допустили это? -- раздраженно спросила она. -- Почему он остался один?

-- Мой муж, -- плаксиво сказала Клелия, -- очевидно, ушел. Его расстраивает, когда кто-нибудь умирает.

-- Перенести кровать в другую комнату?

-- Ах, к чему!

Она покачала головой, подавшись плечами вперед.

-- Бедная женщина, -- пробормотал Якобус, в мучительной неловкости не зная, как ему держать себя.

-- Как он бледен! -- сказала герцогиня. Она вдруг заметила это.

-- Раз он умирает... -- ответил Якобус, заложив руки в карманы.

Она подошла к кровати и настойчиво сказала:

-- Ваша дочь здесь. Граф Долан, вы слышите? Ваша дочь. И мы тоже. Вы видите меня?

-- Бесполезно, -- заявил Якобус, подходя с другой стороны. -- Он не узнает никого. Разве вы не видите, что им владеет только одна мысль?

Она видела это. Последний остаток этой почти иссякшей жизни изливался в одном усилии: еще раз вырваться из покровов, в которых подстерегала смерть. Руки работали, голова легкими толчками, без надежды и без отдыха, подвигалась к краю подушки. Кожа была бела, как бумага. Болезненные впадины между иссохшими щеками и огромный, жесткий крючок носа правильно и быстро подергивались. Тяжелые складки век сдвигались, погасший взгляд в короткие мгновения сознания искал чего-то.

-- Клелия, дайте же ему ее! -- попросила герцогиня.

Это был тот римский бюст, который Проперция могла подарить только одному, -- ее милая Фаустина, та, которую Долан называл ее душой и которую он окончательно отвоевал себе, когда умерла великая несчастливица.

Дочь поставила ее на край постели.

-- Ты узнаешь меня, папа? -- спросила она.

Его судорожно сжатые пальцы принялись царапать и терзать камень и душить бедную обезображенную шею избранной и принесенной в жертву души, с которой когда-то, в дни своей силы, боролся и он.

"Какие жестокости, неслыханные и безумные, горят теперь под этим черепом? -- спросила себя герцогиня. -- И ведь он сам уже почти перешел в каменную вечность, которой принадлежит милая Фаустина".

Наконец он обессилел, и камень выпал из его рук. Клелия плакала гневными слезами: ее умирающий отец не обратил на нее внимания. Она сделала движение плечами, как будто оставляя все за собой, и быстро вышла из зала.

Герцогиня указала на обломки вокруг и затем на старика.

-- Это тоже была страсть, -- сказала она печально и гордо.

-- О чем тут жалеть, -- жестоко ответил он. -- Существуют более важные вещи.

Он бродил по комнате, глубоко встревоженный, прислушиваясь к тому, что делалось у него в душе. Вдруг он остановился; ему показалось, что он видит ее в первый раз.

-- Это поразительно! Так до ужаса хороша она не была еще никогда; никогда у нее не было такой пожирающей, страшной красоты. Это жизнь в сладострастии, которую я хочу написать; это Венера, которую я предугадываю в ней и которая принадлежит мне! О, теперь нет больше сомнений... И ее сила растет у этого смертного одра! Не окрашиваются ли ее губы ярче? Это отжившее тело как будто уже раскрылось перед нами, и из него вышли тысячи новых, безымянных зародышей, -- как будто круговорот уже совершился, и горячая жизнь, какую знал, быть может, этот ушедший, ударяет нам в лицо. Да, я тоже чувствую это: точно источник молодости бьет к нам из маски смерти, бьет в наши глаза и рты и наполняет нас чем-то опьяняющим. Она не будет отрицать, что это любовь!

-- Герцогиня! -- тихо и почти властно сказал он.

-- Я знаю, -- сказала она, глядя на него и тяжело переводя дыхание. Их обоих одновременно охватил порыв, чуть не унесший их от кровати умирающего, чтобы броситься в опьянении на грудь друг другу. Они цеплялись за прутья кровати и смотрели друг на друга при неверном свете свечи, бледные, бессознательно улыбаясь.

-- Вы принадлежите мне, -- снова заговорил он. -- Ведь вы Венера.

Он уперся руками о кровать и смотрел на нее поверх очков. Его сидящая борода распласталась по груди. На нем все еще был его бархатный камзол с белым жабо. Черный плащ, под которым он спрятал его, неподвижными складками спадал с плеч.

-- Венера?

-- Как я и предсказал вам... Не узнал ли я и Минерву в вас, прежде чем вы стали ею? Тогда вашей красоте было предназначено становиться все более холодной. Воздух вокруг вас отливал серебром, вы прижимались к мрамору и исчезали среди статуй. Теперь вы тревожите мрамор, на который опираетесь. Вы сообщаете ему странную лихорадку. Взгляните вот на тот разорванный портрет...

-- Вам хочется видеть меня такой. Мои портреты -- это ваши желания.

-- Конечно. Каждый из ваших портретов только желание. Насытите меня, наконец, -- тогда появится шедевр. Потому что, герцогиня...

Он торжественно повысил голос:

-- ...вы обязаны дать мне шедевр. Когда-то мне пригрезилась Паллада, которую написал бы великий мастер четыреста лет тому назад. Теперь я

хочу написать никем невиданную Венеру. Моей Палладой вы жили все эти семь лет. Вы приняли жертву моего искусства и моей жизни, -- я напоминаю вам всегда об одном и том же. Теперь дайте мне Венеру, которая в вас! Дайте мне себя!

Он опомнился и подавил свое возбуждение. Спокойно и высокомерно он прибавил:

-- К чему я так прошу. Это и без того ваша судьба.

-- Может быть, -- ответила она. -- Тогда предоставьте меня ей и ждите.

-- Ах, ждать, ждать, -- когда мы уже давно знаем все и во всем согласны.

-- Вы точно ребенок, вы становитесь красны от нетерпения и желания настоять на своем. Вы называете это любовью? Я позволяю вам говорить, потому что вы ребенок.

-- За вами портрет! -- вскрикнул он. -- Он говорит смелее меня. Посмотрите на него. Ниобея стоит на нем ногами: жаль. В прошлом сентябре я сделал эскиз в вашей вилле. Это должна была быть любящая искусство важная дама в своем парке. Клянусь вам, что я не хотел ничего большего. Недавно я закончил ее. И что же? В лесистый фон, на котором в тяжелом молчании желтеет листва, вкралось что-то тревожное, жаждущее. Вы в парадном туалете, с высоким вышитым воротником, стоите перед мраморной балюстрадой. Мрамор живет, ведь вы замечаете это? Вы кладете свою обнаженную руку на цоколь, и под ее прорезанной жилками узкой кистью, которая свешивается с него, играя пальцами, жилки камня тоже окрашиваются темнее и как будто набухают. Что это? Ваза над вашей головой вздувается и ждет оплодотворения, пляска женщин на ее выпуклой поверхности становится более жгучей... И вы сами, герцогиня, -- ваше платье колыхнется мягкими, томными и жаждущими складками; ваши глаза полузакрыты, почти слепы от желания, одна из ваших темных, мягких губ целует другую. Несколько красных листьев лежат у ваших ног. В воде внизу, у роши, кровавятся красные огни. Я забыл, откуда они. Что говорит эта тяжелая, втайне изнывающая осень? Что говорите вы, герцогиня? Я не знаю этого. Я, следовавший за вами к каждой полосе воды и к каждому куску стекла и ловивший каждое ваше отражение, -- я не знаю этого. Я написал это.

-- Вы знали это только что, -- тихо сказала она.

Он ответил так же:

-- И вы тоже знаете это.

-- Может быть... Но я замечаю также, что мы слишком разгорячились. А между нами лежит...

-- Остывший труп, -- с жестоким смехом dokonчил Якобус.

Ей стало страшно.

-- Клелия! -- крикнула она. Она повернула голову; свет свечей вплел в ее волосы золотисто-красные лучи, ее профиль, обращенный в темноту, казался белым и каменным.

-- Клелия, ваш отец...

Портьера заколебалась; но шагов убегающей не было слышно. Клелия убежала в свою комнату; она заперла дверь, бросилась на диван и зарылась

лицом в шелковые подушки. Они забились ей в рот. Она ногтями рвала их. Вдруг она, задыхаясь, подняла голову и посмотрела на себя в зеркало.

-- Я уже совсем синяя, -- сказала она. -- Это чуть не удалось мне, я могла бы уже быть мертвой, -- быть может, еще раньше его, не одарившего меня ни одним взглядом. Почему все так враждебны ко мне?

Она разрыдалась, увидя в зеркале на глазах своих слезы.

-- Хорошо, они увидят! -- наконец решила она. Она села, разорвала зубами кружевной платок и, измученная и злая, стала смотреть в окно.

-- Прежде им было угодно находить меня милой и доброй: я доставляла им это удовольствие. Теперь они увидят, что мне важно только господствовать. Какое наслаждение показать им, что я была совсем не так добра, как они думали, -- разрушить свой собственный образ!.. Он никогда не любил меня, я знаю это, и это мне безразлично. А от необузданных творений, которые я хотела извлечь из него, я давно отказалась. Мое удовлетворение в том и заключается, что он погряз вместе со мной, он, обещавший так много... А теперь он хочет подняться, а я останусь на месте? Шедевром, которого я не могла добиться от него, будет наслаждаться теперь другая? Я позабочусь о том, чтобы этого не случилось. Любят ли они друг друга или нет, -- я не из тех, кто смиренно позволяет бросить себя. Но он и в качестве ее возлюбленного останется дамским художником в провинциальной дыре, каким был в мое время! В этом мое честолюбие, и я доставлю себе это удовлетворение.

Она написала письмо в Вену госпоже Беттине Гальм.

"Ваш муж окружен интригами, которые угрожают его здоровью и, может быть, даже жизни. Вы любите его, я знаю это, потому я, как почитательница его таланта, советую вам: приезжайте. Остановитесь у меня. Я лично расскажу вам об опасных соблазнах, которым чувственный художник, к сожалению, не мог противостоять. Другие любовники дамы собираются отомстить, прежде всех известный дуэлянт Сан-Бакко".

Она разорвала письмо.

-- Таких вещей не пишут. К тому же эта жена -- тщеславная дура, хвастающая в обществе его гением.

Наконец, она набросала телеграмму.

"Спокойствие и работоспособность вашего мужа в опасности. Приезжайте немедленно".

* * *

Джина одиноко страдала в своей комнате от удушливых испарений, много дней носившихся между небом и морем. В первый голубой вечер герцогиня увезла подругу в лагуну в стройной коричневой гондоле без уключин и навеса. На обоих гондольерах были костюмы и шапки из белого шелка. На ногах у них были башмаки из желтой левантинской кожи, с толстыми кистями, а вокруг талии они носили голубые шелковые шарфы с серебряной бахромой. Дул мягкий ветерок, над Punta di salute стояло светящееся розовое облако.

-- Какой сладостной, незлобивой и полной может быть жизнь! -- сказала Джина. -- Утро проводить вблизи любимой картины или памятника, который вызывает в нас такое ощущение гордости и счастья, как будто прославляет нас самих; днем отдыхать в саду, где обветренные статуи украшают сказочными играми темную зелень; глубоко вдыхать морской воздух и возвращаться домой по голубой солнечной лагуне, вдоль радостной Ривы; видеть, как расцветает в встречной гондоле, словно незаслуженное чудо, прекрасное лицо, и при каждом повороте головы снова находить сверкающую Пиаццетту, розовую и белую за разноцветными парусами -- все это точно сон... точно сон...

Она замолчала; в ее глазах светилась задумчивость. "Точно сон", -- повторила она, наслаждаясь этим словом, словно впервые создав его. Герцогиня думала:

"Да, это лучшее, что я знаю в жизни. И все же мне это наскучило".

Джина продолжала:

-- Потом наступает звездная ночь. Портик старой таможни бледно мерцает, призрачно отражаясь в темном зеркале воды. Военный пароход бросает в воду ряд длинных огней, а черный силуэт гондолы с белыми гребцами, равномерно наклоняющимися вперед, молча скользит по горячей глади. Гондолы медленно и беззвучно блуждают во мраке. Мандолина бросает нам из влажной дали мелодию, точно цепь маленьких бледных кораллов. Возле нас на воде кто-то затягивает народную песню...

-- Он продал всю эту позицию какому-нибудь иностранцу за несколько лир, -- сказала герцогиня и улыбнулась, как будто извиняясь за свои слова.

-- Что мне до того, -- возразила Джина, -- что он обыкновенный продавец поэзии? Я не хочу от него решительно ничего, я просто ловлю звуки, которые принадлежат уже не ему, а ночи. В ее лоне, глубоко в своей гондоле, лежу я и закрываю глаза. Я не хочу от людей больше ничего, кроме нескольких оброненных звуков, прелести которых они сами не знают, не хочу ничего, кроме тайного чувства: я так долго была лишена всего этого.

-- Я не хочу чувства в песнях. Я с удивлением пожимаю плечами, когда кто-нибудь хочет тронуть меня стихами. Я нахожу его навязчивым. Мои поэты -- спокойные мастера слова, они презирают маленькие человеческие сентиментальности. Они гордятся своим сердцем, которое бьется в такт совершенному. Их стихи, когда мы произносим их, звучат так, как будто бронзовые монеты падают на мрамор. Они заключили свои безупречные стансы и сонеты в эти узкие, искусные оправы, точно строгие, покрытые фигурами, рельефы.

-- И все-таки, читая их вместе, мы не раз плакали.

-- Только безмерность их красоты вызывала у нас слезы... Мы сидели на пурпурных, позолоченных скамьях с прямыми спинками при ярком свете высоких порфиновых ламп и читали стихотворения, в которых кроваво шумели королевские плащи и на ступенях храма раздавались звуки медных труб.

-- И на бледных, мягких подушках лежали мы, -- продолжала Джина, -- неясные тени робко скользили по легким бледно-лиловым шелкам, и под плотно завешанными окнами мы читали усталые, прерывистые стихи, -- стихи, в которых молят больные любовники, и с голых деревьев из покинутых гнезд медленно падают легкие перья... На обложке были Амур и Венера в овале из слоновой кости... Но иногда становилось жутко; мы читали о замках, полных воспоминаний о недобром величии. Улыбались женщины с красными рубцами на шее, а за окнами, над черной стеной леса, носились тени мрачных приключений. Подле нас, из тяжелых канделябров с бронзовыми постаментами, полными чудовищ и битв, исходил бледный свет, точно из недр кошмарной ночи.

-- В этих стихах, -- закончила герцогиня, -- мадонны опять являются тем, чем они были в свое время: небесными возлюбленными. Они вернули и ангелам невыразимую грацию их первого взгляда.

После паузы Джина прошептала:

-- Милые, милые произведения искусства...

Она оборвала, тяжело дыша.

-- Воздух опять стал тяжелым. Как потемнели облака, и как потеряла все краски лагуна! Мне очень грустно.

-- Почему, Джина?

-- Я должна покинуть Венецию, если хочу пожить еще немного для своего ребенка. Этот прекрасный город убивает меня, -- это была бы слишком счастливая смерть, здесь, Среди моих милых, милых творений искусства. Ах! Они добры и верны, они не угнетают робких. Я бежала к ним от людских насилий; они говорят со мной так торжественно и так сердечно. Я растворяюсь в них, я забываю человека, которым я была, забываю, как подавлен и унижен был он другими людьми, -- и от меня не остается ничего, кроме чувства, согретого солнечными лучами картин.

-- А я, -- сказала герцогиня, -- я становлюсь вполне собой только в обращении с картинами! Только они равные мне, только с ними я чувствую всю свою гордость и любовь, на которую я способна. С тех пор, как они сделали меня своей подругой, я жила полнее, смелее, расточительнее, чем прежде, когда хотела опрокидывать государства и заставляла умирать за себя тысячи людей.

-- Жизнь? -- прошептала Джина. -- Я хочу забыть ее, эту жизнь.

-- Я -- нет. Мое наслаждение искусством не отречение. Я в гостях у прекрасных творений; они дают мне опьянение и силу.

-- А если они когда-нибудь не будут больше делать этого?

Джина с тревожным лицом следила за приближением грозы. Венеция лежала призрачной белой, как мел, полосой между небом и серовато-голубой лагуной.

-- Тогда, -- ответила герцогиня, откидывая назад голову, -- тогда я пойду дальше.

* * *

Клелия пришла в глубоком трауре, молодившем ее. Под густой вуалью блестели ее золотые волосы, точно спрятанное сокровище. Она привела с собой фрау Беттину Гальм. Герцогиня сидела у бассейна в зале Минервы.

-- Значит, вы были знакомы и прежде?

-- Беттина моя подруга, как ее муж мой друг, -- пояснила Клелия. -- Я пригласила ее.

-- Вы живете не у вашего мужа?

-- О, нет.

-- Вы видели его?

-- Мы были сегодня вместе у него, -- сказала фрау Гельм и вдруг уставилась глазами в свои колени. При этом она улыбалась пустой и боязливой улыбкой. Герцогиня была поражена ее видом. Голова с покрытым пятнами лицом, бесцветными глазами и редкими льняными волосами увенчивала высокую фигуру, полные плечи и большой бюст; и только она одна, казалось, исхудала от горя, которое ей причиняло ее безобразие.

Герцогиня подумала:

"Бедная женщина, некрасивая и недалекая! Она позволяет Клелии эксплуатировать себя. И супруга и любовница, соединившиеся против меня, едва осмелились предстать перед Якобусом. Бедные женщины!.. Я скажу им что-нибудь любезное".

Клелия отнеслась к этому холодно. Беттина благодарно. Не клеившийся разговор был прерван приходом Джины с сыном. Госпожа де Мортейль ушла с ними в другую комнату. Фрау Гальм сейчас же наклонилась вперед и тихо и фамильярно сказала:

-- Она думает, что обманывает меня. Она очень незначительна, бедняжка. Простите эту комедию, герцогиня!

-- Я, кажется, понимаю, о какой комедии вы говорите. Но все-таки объясните мне.

-- Она хотела заставить меня поверить, что мой муж в опасности. Будто бы вы грозите ему опасностью. Не обижайтесь, ведь это глупая ложь.

-- Значит, вы не дружны с ней?

-- Что вы! Ведь он писал мне, что она мучит его!

-- Он пишет вам?

-- Конечно!

Она откинула назад плечи, лицо ее приняло чрезвычайно надменное выражение. Голова затряслась от напряжения. Она судорожно впилась взглядом в глаза герцогини, но вдруг отвела его, робко и растерянно посмотрела по сторонам, точно застигнутая врасплох, и наконец опять уставилась на свои колени. Оправившись, она сказала:

-- Вы, вероятно, думаете, что он плохо обращается со мной? О, я должна уверить вас, что он эгоист. Та хочет этого; ее легко понять, не правда ли? Я понимаю все, я не глупа... К тому же, как я уже сказала, Якобус пишет мне. Часто, когда на душе у него тяжело, он спрашивает у меня совета.

-- Неужели?

-- Ведь он знает, что его никто не любит так как я, так... бескорыстно.

Она вздохнула.

-- Например, -- оживленно продолжала она, -- вот этот зал я прекрасно знаю: это зал Минервы. Он однажды описал мне его. Вы, герцогиня, сидели здесь во время первого вашего празднества, на том самом месте, где сидите теперь, а он ходил взад и вперед перед вами. Проперция Понти тоже сидела у бассейна и еще одна женщина. Эта третья разжигала его и овладела им, несмотря на его гнев. С того вечера он любит вас, герцогиня, вы знаете это. Этому уже семь лет, не правда ли?

Она говорила точно о самом обыкновенном предмете, сопровождая свои слова легкими движениями полных рук, и с ее лица не сходила вежливая улыбка, казалось, подтверждавшая вещи, которые подразумевались сами собой.

-- Боже мой! Семь лет!.. В течение семи лет быть недоступным идеалом. Вы поймите, герцогиня, что я завидую вам. В этом смысле! Другой -- вы знаете, кому -- я не завидую: я слишком презираю ее. Надоевшая любовница гораздо презреннее нелюбимой жены: вы не думаете этого? -- умоляюще спросила она.

-- Думаю, -- сказала герцогиня. И вдруг с Беттины спали оковы. Приложив руку к сердцу, она страстно зашептала:

-- Как счастливы вы! Вы живете там же, где он, каждый день видите его. О, вы счастливы более, чем я могу себе представить. Правда, он великий художник?

Герцогиня услышала крик пламенного убеждения. Почти с благоговением она ответила:

-- Да.

Беттина таинственно шептала:

-- Но он еще не создал своего высшего творения. Только одна женщина могла бы вызвать его к жизни. О, не та. У нее прекрасные волосы, это много -- очень много. Если бы у меня были ее волосы! Ах, я не красива... Но она холодна и незначительна. Она думает, что может обмануть меня. Хотеть обмануть женщину, которая так любит, как я: уже это одно показывает, как она незначительна. Он терпит ее -- из-за ее волос, и потому, что не знает, как избавиться от нее. Ведь она не жена ему. О, со мной это было иначе. От меня он быстро избавился... Если бы у меня были ее волосы! Нет, мне не нужны они. Если бы у меня были ваши, герцогиня. И ваша душа: вся ее красота! Каким великим стал бы он! Я тогда наверно знала бы, что ему надо создать, чтобы стать выше всех. Теперь я, бедная, не знаю этого. И если бы я знала, я не смела бы сказать: ведь я безобразна! О, если бы я была красива!

Она чуть не плакала. Она сложила руки на коленях и опустила голову.

"Это измученная душа, -- думала герцогиня, растроганная и встревоженная. -- Что мне сказать ей?"

-- Когда-нибудь он еще узнает, чего стоит любовь, -- заметила она. Беттина подняла глаза.

-- Вы думаете? -- горько спросила она, и в этих словах герцогиня услышала всю муку, которой бедняжка оплачивала свое сомнение, сомнение в своем божестве.

Клелия вернулась с Джиной и Нино. Беттина вскочила, ее взгляд блуждал по зале, ни на чем не останавливаясь. Она принялась торопливо болтать, сопровождая свои слова изящными жестами и прерывая их глупым смешком.

Ночью герцогиня проснулась с мыслью:

"Я должна уехать из Венеции, как Джина. Зачем мне доставлять себе неприятности и заботы? Меня ждут неизмеримые дали, полные новой, свободной жизни. Там меня не будут преследовать никакие требования, никакие обязанности по отношению к умершим святыням. Я поеду путешествовать инкогнито. Там никому не придет в голову расстраивать меня своими страданиями или беспокоить своими желаниями".

Утром она вспомнила эту мысль и была поражена.

-- Беттина заставила меня задуматься. За то, что он пишет ей, за то, что он еще больше смущает ее бедное, безумное сердце всеми приключениями своих чувств, -- за все это она благодарна ему и отрицает его эгоизм. Ах, я вижу его эгоизм вполне ясно с тех пор, как знаю Беттину. Она очень повредила ему. Все его домогательства не заставят меня забыть эту женщину.

В конце концов она сказала себе:

"И если бы она и не пугала меня, то все же ее горе было бы для меня священо. Я никогда не полюблю его, мужа женщины, которая так страдает".

* * *

Сан-Бакко носил уже только пластырь на щеке. Герцогиня устроила по поводу его выздоровления празднество, на которое явился и его противник. Чтобы заставить простить себе свою победу над старым борцом, Мортейль пришел с рукой на перевязи, хотя его незначительная рана давно зажила. Сан-Бакко был тронут; он пошел навстречу противнику и обнял его. За столом он посадил его рядом с собой. Сам он сидел слева от герцогини; по правую руку от нее сидел господин фон Зибелинд. Место возле него было не занято.

-- Леди Олимпия будет, -- объявил он, -- она будет непременно. Ведь я приехал в ее гондоле. Я оставил ее у миссис Льюис. Она должна была еще поехать к графине Альбола, к синьоре Амелии Кампобассо...

-- Она потребовала, чтобы вы выучили наизусть весь список? -- спросил через стол Якобус.

-- Я сам составлял его, -- прогнусавил Зибелинд. -- Сегодня утром, когда мы возвращались из Киоджи... Если вам, почтеннейший, угодно сомневаться...

-- Я не сомневаюсь, а только завидую.

-- Для этого у вас есть основания.

Они рассмеялись друг другу в лицо. Зибелинд гримасничал от счастья, Якобус был возбужден и вел себя очень шумно. Каждый раз, как он смотрел мимо жены, она из покорности раздражалась детским смехом. Клелия, снявшая на этот вечер траур, заметила, как холодно обращалась с

ним герцогиня, и едва владела собой от радости. Нино молча сидел на конце стола рядом с маленькой серьезной Линдой в пышном платье, Джина улыбалась.

Обедали в галерее, среди нарисованных пиршеств. Ее стеклянная крыша была открыта; видно было, как сверкали ласточки в темной волнующейся синеве. Она заглядывала внутрь, такая тяжелая, что, казалось, вот-вот упадет: балдахин, погребавший всех под блеском и триумфом.

Веселость Зибелинда заражала одних и заставляла умолкнуть других.

-- Утро я целиком провел у своего поставщика белья -- исключительно из-за этого воротника. Вы не поверите, до какой степени я тщеславен. Галстук, делающий мой цвет лица здоровее на сколько-нибудь заметный оттенок, занимает меня часами.

-- Вас, человека духовной жизни!

-- У счастливых нет духовной жизни, они плюют на нее. Даффрицци сам примерял мне воротники. Он потел от страха перед разборчивым клиентом. Под конец он стал улыбаться.

-- Вы дали ему за это пощечину?

-- Я пожал ему руку. Ведь я счастливец. Ах, послушайте, вчера в Киодже был осел, настроенный по-весеннему...

И он изобразил крик осла.

-- Она должна сейчас быть, -- непосредственно вслед за этим заявил он и посмотрел всем поочередно в глаза. Все они были полны улыбающегося уважения. Его собственные глаза больше не мигали; они оглядывали все свысока, -- они, которые обыкновенно подсматривали снизу. Их веки, с краями, красными от усталости этой ночи, были широко открыты. Он скрестил на груди руки с худыми красными, кистями. Он выпрямился, фрак стоял вокруг его тощей фигуры, точно деревянный, а голову с пробором он держал высоко и гордо. Капризная судьба неожиданно для всех высоко вознесла Зибелинда, раздув его чахоточное самомнение.

"Так выглядит любовное счастье", -- сказала себе герцогиня. Он зловеще привлекал ее.

-- Так вы были в Киодже?

-- В Киодже, герцогиня!

-- С каких пор?

-- Со вчерашнего утра!

Он сиял. Немного румян и несколько штрихов угля усиливали это сияние. Они сообщали носу чуждый ему изгиб и искусственно придавали щекам узкие очертания, тонкие и надменные.

-- Скажите, вы очень счастливы? -- быстро и жадно спросила она.

-- Безмерно! Больше, чем человек в состоянии себе представить! Ведь, если хорошенько подумать, я люблю леди Олимпию уже семь лет, -- конечно, еще с тех пор: что вас так испугало, герцогиня? -- и считал обладание ею таким же невозможным, как летание. И вот...

Он сложил руки.

-- И вот она научила меня летать.

-- И вы ни о чем не жалеете?

-- О чем же?

-- Ну, ведь прежде вы хотели истинной любви, не чувственной, бесформенно мистической?

-- Это была бессмыслица! Господи, что это была за бессмыслица!

-- Вы верили в нее. Но формы леди Олимпии были сильнее. Они ворвались в ваши чувства аскета и плачевно растоптали ваш сад из лилий и майорана... А ваш союз для охраны нравственности?

-- Хотите знать все? Сознательно или нет, я примкнул к союзу только из-за моего слабого сложения. Я думал, что все это мне не по силам. Это была ошибка, мои силы позволяют мне много, смею сказать, необыкновенно много: это... мне доказали. Впрочем, как безразлично мне это теперь! Я люблю и любим!

-- Тем лучше.

-- Обратите внимание, герцогиня, на мой здоровый аппетит. И что такое хорошее старое бургундское, я узнаю в эту минуту, поднося стакан к губам. Поймите это буквально. Счастье в один день сделало из меня нечто совершенно новое, оно, так сказать, перенесло меня на другую духовную половину мира. Из мира презренных я вдруг перенесся в мир желанных. Вы можете себе представить, как странно у меня на душе. Ко всем предметам что-то прибавилось, что-то радостное. Мое блаженство полно; мне даже завидуют.

-- Кто же?

Она подумала: "Так как леди Олимпия не пренебрегала никем"...

-- Якобус. Бедняга ведет себя так шумно с горя. Он громко заявляет, что завидует мне, -- чтобы этого не подумали. Вы не думаете, что это так?

-- Кто знает.

Она думала:

"Как должна была я разжечь его, если он зарится на это счастье!"

-- Ах, я был бы так доволен, если бы мне завидовали.

-- Это нехорошая черта, счастье вас портит.

-- Мы, счастливы, следуем своим инстинктам. Только не копание в чужих душах! Только не самомучительство: как отвратительно все это! Духовная жизнь вообще достойна презренья; она бывает только у несчастных.

-- Духовная жизнь до сих пор давала вам превосходство над... нами.

-- Благодарю за такое превосходство. Я не хочу духовной жизни. Не хочу ничего знать, ничего видеть... Впрочем, Якобуса я примирю с собой. Я сделаю вид, что верю, будто он обладал леди Олимпией до меня.

-- Ведь вы оскорбляете свою возлюбленную!

-- Какие громкие слова! Что значат подобные вещи, когда любишь и любим. Она поняла бы меня! Я чувствую потребность привлечь всех на свою сторону, чтобы увеличить свое счастье. Мир и дружба... Позвольте мне, герцогиня, сказать это всему обществу.

Он выпил свой стакан, снова наполнил его бургундским и постучал о него.

-- Милостивые государыни и милостивые государи! Мы, как вы знаете, чувствуем двух героев, которые, если бы это от них зависело, довели бы дело до того, что мы не могли бы их больше чувствовать. К счастью, это не удалось им. К еще большему счастью, они протянули друг другу руки. Будем жить все рука с рукой! Будем счастливы! Любить и быть любимыми -- вот единственное, что идет в счет... Леди Олимпия сейчас будет! -- вставил он, глядя на часы. -- Идти туда, куда влекут нас чувства, без сомнений, без торопливости, без обязанностей и по возможности вдвоем. Наслаждаться всем, чем обладает мир. Вчера еще мы, леди Олимпия и я, в Киодже, обдумывали, как мы, если бы это было возможно, распределили бы по Европе часы нашего дня. Мы решили после полудня есть крабов в маленьком курорте на Балтийском море; когда на берегу там станет слишком прохладно, закончить прогулку в Венеции, на Лидо; свободный час перед обедом провести на Итальянском бульваре; пообедать в Риме, в маленьком салоне у Раньери; вечер разделить между Скалой и лондонским концертным залом; после этого съесть в Вене порцию мороженого и лечь спать при открытых окнах на берегу Альпийского озера.

Он нежно осмотрел свой искрящийся бокал.

-- Будем счастливы: это так прекрасно! Выпьем за наших героев!

* * *

Нино выпил свое вино и незаметно встал из-за стола.

"Что мне здесь делать! Какой неудачный день! Я не сижу возле своего большого друга. И Иолла не сказала мне еще ни одного слова. Фиалки на кружевах у ее шеи я видел два раза, и раз мельком ее профиль. Она опустила ресницы: тот, с кем она говорила, наверно почувствовал тихое дуновение: они так длинны.

И я все время сидел, облокотившись о стол. Мортель заметил это и показал своей соседке. На днях два осла из лица видели меня с ней. Как они жалки, ни один не любит, как я! Но если бы у них явилось подозрение, -- если бы они посмели высказать его: я думаю, я задушил бы их!

Ах, почему я не сильный и не взрослый! Какое блаженство вызвать на дуэль этого Мортеля! Неужели это в самом деле невозможно? Ведь мне уже четырнадцать лет. Дядя Сан-Бакко должен быть отмщен. Уж я отплачу этому дураку за то, что он недавно сказал: "Этот мальчуган совсем влюблен", -- он это сказал прямо-таки презрительно. Остальные кивнули головой, с какой-то лицемерной и вежливой нежностью, как будто об этом и говорить не стоит. Пусть бы они лучше молчали! Они еще увидят! Как они могут так поступать со мной -- со мной!"

Он, не поднимая глаз, пробежал ряд маленьких комнат. Его остановила запертая дверь: он свернул в боковой коридор. Вдруг он остановился в изумлении.

"Куда я попал? Здесь все еще есть комнаты, которых я не знаю. Там стоит кровать; но зал велик, полон воздуха и расписан, как все остальные. Дверь и окна открыты; я думал, что в спальнях дам пахнет всякими эссенциями. Кровать железная и очень узкая. Вокруг нет никаких вещей; не видно даже,

чтобы здесь кто-нибудь мыл когда-нибудь руки... Кто может спать на этой кровати?..

Нет, я не буду лгать! Я отлично знаю, что она спит на ней... А вот лежит и чулок, его забыли здесь. Мне хочется поднять его -- почему нет? Теперь мне было бы стыдно, если бы я не сделал этого... Он длинный, длинный, блестящий и черный; на ощупь он невероятно мягкий, -- это, конечно, шелк. Его несомненно уже носили, мне стоит только всунуть в него руку - вот так, -- и он сейчас примет форму ноги... Сердце у меня уже опять подкатилось к горлу. Иногда я думаю, что у меня порок сердца. Но мне все равно, пусть будет, что будет... А Иоллы ноги, как у самых прекрасных женщин на картинах -- я уже не помню, на каких. Как странно, я вдруг вижу целый клубок больших голых ног. Все нарисованные женщины протягивают мне свои ноги, -- но они топорны, фуй, топорны в сравнении с ногами Иоллы".

Мысли его вдруг смешались. Он сильно побледнел и в страстном самозабвении закусил губы. Прежде чем он отдал себе отчет в том, что делает, руки его уже распахнули бархатную куртку; они расстегнули рубашку и прижали торопливо свернутый чулок к сердцу. Оно глухо застучало; шелк стал теплым. Мальчик выглянул из окна на медленно движущуюся воду внизу. Он не испытывал стыда, но неясные, полные соблазна картины тяжело и мучительно волновали его.

Вдруг он бросил чулок, застегнул платье и вышел из комнаты.

"Они опять заметят это. Они видят это по моим глазам, я не знаю, каким образом. Одно слово со стороны этого Мортейля! Я ненавижу его почти так же, как моего отца, -- разве может кто-нибудь быть хуже, чем был он? И я ненавижу его, конечно, больше, чем аббата Фриули и господина Тигретти, моих частных учителей. Эти лицемеры и мелочные мучители, -- разве кто-нибудь может быть более жалким, чем они?"

Горячность его вспышки поразила его самого.

"Мортейль? Я в самом деле ненавижу его? Что мне однако до этого негодяя? Нет, нет, все они противны мне, -- все, кто получает от Иоллы слова и взгляды, все, кто сидит с ней за столом, все, кто дышит тем же воздухом, что и она. Ах, я ревную даже к моему большому другу; я хотел бы, чтобы он вернулся в Рим. Иолла должна быть одна со мной. Я увезу ее в зачарованный сад. Никто не посмеет войти в него, я прикажу строго охранять его. Мы будем счастливы там"...

-- О, это еще придет! -- громко воскликнул он. Разгоряченный, со спутавшимися мыслями, бегал он по комнатам. Картины без перерыва тянулись по стенам. Мальчик бросал им свой вызов: -- Вы все же не ярче, чем моя жизнь!

Его жизнь! Она вся состояла из детства, одинокого и бедного теплом любви. Взамен того, она горела жаром душевного возмущения, жарой детского гнева без границ и бурной жажды справедливости. Так часто, когда дом, аллея, деревенская стена и Страсти Господни одиноко сгибались под тяжестью полудня, он делал прогулки, которые были бегством: к морю, всегда к морю, -- и протягивал свои слабые руки, прочь

от убогой и злобной действительности, к обители благородства и мощной радости, туда, далеко к горизонту, где наверно было ее царство. А в своей коморке он истязал себя булавками, ремнями, щипцами -- только для того, чтобы иметь преимущество перед отцом и учителями, которые были так злы: преимущественно перенесенных страданий, суровых мыслей.

"Я буду ненавидеть вас, пока буду жив! -- снова поклялся он себе, возвращаясь из спальни своей возлюбленной, -- и я буду гордым, как дядя Сан-Бакко, и прекрасным, да, таким прекрасным, как она сама, моя Иолла!"

Общество еще сидело за столом.

-- Ты, верно, дрался с кем-нибудь? -- спросил его его большой друг.

-- Нет, но у меня страшная охота к этому, -- ответил Нино, глядя прямо в лицо герцогине.

"Пусть себе замечают", -- думал он. Но они не обращали на него внимания. Об истории с чулком, которая позабавила бы их, не догадался никто. Они и не подозревали, какая любовь бурлила и кричала среди них.

Все перешли в кабинет Паллады. Герцогиня вышла на террасу и подала знак. Под высокий решетчатый портал, переплетающиеся железные прутья которого блестели, скользнула темная гондола. Затем над мертвыми цветами искусственного сада понеслась причудливая и печальная мелодия.

-- Это слепые, -- сказала герцогиня. -- Маркиз, они играют в честь вас.

Сан-Бакко поцеловал ей руку.

-- Но я попросил бы что-нибудь менее проникнутое отчаянием.

-- Что-нибудь веселое! -- воскликнули остальные.

Зибелинд сказал:

-- О, я приготовил кое-что очень веселое. Безобидно веселое. Прошу вас, господа, потерпите две минуты. -- И он поспешно удалился.

Якобус спросил герцогиню:

-- Где слепые?

Она вышла на террасу, чтобы показать их ему. Очутившись с ней наедине, он сейчас же спросил:

-- Когда вы выезжаете на дачу, герцогиня?

-- Скоро. В вилле производился ремонт... Вы так торопитесь?

-- Я тороплюсь приступить к своей картине, вы знаете, к какой. Прежде чем листья пожелтеют, вы мне будете нужны для нескольких сеансов на воздухе.

-- Это вы недурно придумали.

-- Так как при этом вы будете без платья, то должно быть тепло.

-- Милый друг, вы страдаете навязчивой идеей. К счастью, она безобидна.

Поэтому и не спорю с вами.

-- Герцогиня, вы прекрасно знаете, что должны удовлетворить меня. Иначе погибнет многое.

-- И вы уверены, что это так важно для меня?

Они тихо и быстро бросали слова. Вдруг они замолчали, оба испуганные. Слепые нежно играли какой-то танец. Герцогиня улыбнулась.

-- Вы художник. Ваше тщеславие заставляет вас относиться к своему занятию чересчур серьезно.

-- Вы называете это занятием? Но для вас самой, герцогиня, -- с силой воскликнул он, -- это было богослужением, которое наполнило лучшие годы вашей жизни. Вспомните же, чем вы обязаны искусству!

-- И вам?

-- Конечно, Было бы неблагодарностью, недостойным поступком, если бы вы не слышали меня!

-- Вы мальчик, стремительный и себялюбивый и неспособный признать, что мир не вертится вокруг вас. Вам везло во всем; теперь вы искренне возмущены, что один раз вам что-то не дается. Я прощаю вам вашу невинность и неопытность.

-- Вы обязаны...

-- Ни вам, ни искусству. У меня нет никаких обязанностей. Когда искусство надоест мне, я пойду своим путем.

Она оставила его и вернулась в комнату. Все глаза были устремлены на даму, которая вошла с другой стороны.

-- Господин фон Зибелинд?

-- Madame Бланш де Кокелико, -- ответил его голос. Гостья, прихрамывая, мужскими шагами прошла на середину зала. У нее были красновато-желтые волосы и жирная, бледная кожа; под спадающим неподвижными складками черным шелковым платьем чувствовался костлявый остов, полный развращенной гибкости.

Мортейль засмеялся, ему было противно, но этот маскарад щекотал его нервы.

-- Bravo, Зибелинд, это в самом деле Кокелико. Я очень хорошо знал ее.

-- Я тоже, -- презрительно сказал Якобус.

-- Ну, да, кто же не знает меня? -- объявил Зибелинд по-французски. Французские слова легко слетели с его уст.

-- Право, это она, -- сказал окаменевший Сан-Бакко. -- При разговоре узнаешь ее. Я раз ужинал с ней. Несчастный Павиц тоже был при этом. Она самым бесстыдным образом издевалась над ним.

Якобус сказал Нино:

-- Посмотри-ка на эту фигуру. Все, понимаешь, решительно все в ней фальшиво. Когда она вечером ложится в постель, от нее не остается ничего, кроме маленького остова, как у селедки.

Мальчика охватил испуг. Представление о голове с серебристо-серым студенистым хвостом, одиноко лежащей на огромной подушке, поразило его. Бланш исполняла какой-то номер, нечто безобидно веселое.

-- Шея! -- содрогаясь, прошептала Джина. Певица поворачивала во все стороны шею, жилистую и покрытую таким толстым слоем пудры, что, казалось, на нее наложена была гипсовая повязка. Рот зиял, как широкая кровавая рана. Узкие, изогнутые угольные штрихи над ее глазами поднимались кверху; она стояла, опустив книзу руки, так неподвижно, что не заметно было даже дыхания, и бойко, тусклым и хриплым голосом, пела о своих неутолимых желаниях. Дворников, конюхов с запахом самца и навоза, мясников, живодеров, палачей с запахом крови и самца, -- вот что она любит. В заключение она сделала два-три усталых, непристойных

движения: великая, отрезвившаяся и уже наполовину ушедшая в частную жизнь развратница давала новичкам беглое указание. Мужчины захлопали. Беттина глупо хихикала.

-- Это настоящее искусство! -- объявил Мортель, искренне восхищенный. Герцогиня устремила взор на Палладу; ей было не по себе. Затем она спросила себя, пожимая плечами:

"Неужели я суеверна?.. Он говорит о богослужении, которое наполнило лучшие годы моей жизни. Но ведь это была только игра. Что ж, если она надоела мне. Я окружила себя декорациями и символами: Паллада, ее храм, в котором я славилась ее, зал, который я воздвигла для нее, души в мраморе, статуи -- мои подруги, та женщина на террасе с ее белой угрозой -- все это гнетет меня и вызывает во мне скуку. Я отодвигаю их в сторону, будто они сделаны из папки. Я хочу опять быть свободной, совершенно свободной, искать новую страну и жить на неведомый лад".

Она воскликнула:

-- Какая удачная шутка, господин фон Зибелинд. Вы так внезапно открываете нам свои таланты!

-- Счастье, герцогиня! Счастье вызывает наружу все хорошее, что есть в нас.

Он был растроган, и чувство, прорывавшееся сквозь застывшую в холодной непристойности маску, возбуждало ужас, как нечто противоестественное. Он сидел в прямом кресле, заложив ногу за ногу, положив руки на ручки кресла, и предоставлял любоваться собой.

-- Я сознаюсь, что всегда страшно гордился своим сходством с Кокелико. Вы, вероятно, давно заметили его.

-- Сходство со старой бабой! -- оскорбительным тоном заметил Якобус.

-- Почему нет? -- мягко и самодовольно ответил Зибелинд. -- Мне понадобилось только немного румян.

Мортель нагло заметил:

-- Так как вы уже и раньше были совершенно покрыты ими.

-- Второй номер! -- прокричал Зибелинд, поднимаясь. С воды донеслись звуки польки. Он спел несколько тактов, оборвал и сказал:

-- Лели Олимпия не может больше заставлять нас ждать... видите, вот и она.

Он довел строфу до конца, не спуская с возлюбленной своего обольстительного взгляда кокетки.

-- Миледи, найду ли я у вас одобрение? Бланш де Кокелико поет в честь вас, миледи... Твоя гондола здесь, дорогая? -- тихо и взволнованно спросил он. Она сердито ответила:

-- Что за наглость! Кто эта неприличная фигура?

-- Я Готфрид, -- шепнул он. -- Но, однако, моя маска должна быть хороша!

-- Я не знаю никакого Готфрида -- или, если и знаю, то очень мало. И у меня нет никакого желания возобновлять это знакомство.

-- Какая остроумная шутка, миледи!

Он подпрыгнул на одной ноге.

-- Вы, по-видимому, в удивительно веселом настроении. Неужели я причиной этого? Мне очень жаль. Вы возбудили мое любопытство тем, что говорили так горько и так глубокомысленно. Можно было испугаться; не все даже было понятно. В вашем глупом счастье я нахожу вас просто unfair.

Он засмеялся и подмигнул.

-- Ведь я Бланш де Кокелико, очень худая женщина, а вы -- очень полная. Вы, конечно, слышали об искусстве, которым знаменита Бланш? Лишь теперь мы будем любить друг друга, миледи.

-- Я сейчас потребую, чтобы вам указали дверь, -- сказала она, смерив его взглядом через плечо и отходя. Он вдруг начал дрожать с головы до ног, но смеялся таким же порочным смехом, как прежде.

-- Значит, сегодня вы не возьмете меня с собой? -- спросил он, следуя за ней.

-- Он разыгрывал из себя одинокого и страдающего, а был просто неприличным субъектом, -- заметила она, возмущенная обманом.

-- Время терпит, я понимаю шутки, -- уверял он.

Он сделал пируэт и, заметно хромая, вернулся к обществу. Он тотчас же с хриплыми выкриками запел следующую строфу. Не успев кончить, он опять бросился к леди Олимпии.

-- Но завтра наверно! -- настойчиво просил он с такой судорожной улыбкой, что слой румян на его лице заметно двигался взад и вперед.

-- Что это за человек, от которого никак нельзя отделаться? -- спокойно и громко спросила она. Он вдруг вскинул кверху левую руку и упал навзничь с сильным треском, не сгибаясь, так что на шелковом платье не образовалось ни одной складки.

-- Этим должно было кончиться, -- спокойно сказала леди Олимпия.

-- Конечно, это можно было предвидеть весь вечер, -- объявил Мортейль, вставляя в глаз монокль. Якобус с бешенством перешагнул через тело Зибелинда.

-- Это омерзительно, мы не должны были допускать этого.

-- Это забавляло герцогиню, -- сказал Сан-Бакко.

-- И доставляло удовольствие всем нам...

Он пробормотал со стыдом, опустив голову.

-- Как это вообще было возможно.

-- Не правда ли, это было жутко -- уже давно? -- сказала Джина Беттине.

Обе женщины тихо последовали за лакеями, которые унесли Зибелинда. Один держал его за ноги, другой -- за голову; они вынесли несчастного, точно длинную восковую куклу, -- ловкое подражание пороку. Они положили его на кровать через три комнаты. Джина смотрела на него, содрогаясь перед женщиной, которая раздавила его. Беттина с наивным любопытством заглядывала через ее плечо.

-- Жаль, -- сказала она, -- было так весело.

-- В самом деле?

-- Нет, -- в сущности нет.

Она указала на лежащего и в горестном порыве прибавила:

-- Бедный человек! С Якобусом дело обстоит точно так же.

-- О! -- произнесла Джина. Беттина безнадежно покачала головой.

-- Он слишком любит ее.

-- Вы видите это и страдаете, не правда ли?

Беттина жалобно шепнула:

-- Да.

-- Когданибудь это прекратится.

-- О, нет, он слишком несчастен. Больше, чем человек может себе представить. Он сам мне это сказал.

-- Я знаю это: и он, и -- герцогиня. Когда двое мучат друг друга, я это замечаяю.

-- Он открыл мне свое сердце... Вначале он рассердился на меня за мой приезд и не обращал на меня никакого внимания. Потом в один очень печальный час он сказал мне все. Окно было завешано, шел дождь, его голова лежала у меня на коленях. Это было прекрасно.

Джина подумала про себя:

"Она благодарна, когда он ей жалуется, что другая женщина отвергает его... Я не знаю, была бы я тоже такой? Я понимаю ее".

-- Если бы я могла снять с него часть его страданий! -- вздохнула Беттина.

-- Если бы я была герцогиней... -- нерешительно напела Джина.

Беттина встрепенулась.

-- Ну?

-- Я думаю, я сделала бы это.

-- Не правда ли, вы сделали бы его счастливым. О, я тоже сделала бы это, несомненно!

-- Я сделала бы это из любви к искусству, -- пояснила Джина, -- чтобы возникло прекрасное творение.

-- Я сделала бы это для него, -- сказала Беттина, -- чтобы он стал великим... но герцогиня не хочет сделать этого ни для него, ни для искусства. Разве она холодна?

Джина решительно заявила:

-- Нет, я знаю ее. Она не холодна. Я люблю ее.

-- Странно, что и я люблю ее. Но я и боюсь ее.

Джина опустила глаза.

-- Я тоже.

-- Она так сильна, -- плаксиво пролепетала Беттина.

-- Да, да, поэтому я боюсь и люблю ее, -- потому что она так сильна.

И две слабые молча пошли назад.

* * *

В кабинете настроение было подавленное и стесненное. Все чувствовали искушение оглядеть себя, -- не запачканы ли они. Сан-Бакко ходил из угла в угол. Он с досадой размышлял:

"Я поссорился с Мортеем из-за пустяков, сравнительно с тем, что делал этот несчастный. Я не понимаю себя".

Он столкнулся с Якобусом. Сан-Бакко, хмурясь, поднял глаза, но тот был, очевидно, погружен в свои бурные мысли.

"Этого еще недоставало"! -- думал он. Он называл выходки Зибелинда позором, и сам страдал под его тяжестью.

-- Это было уж чересчур омерзительно для человека, настолько раздраженного, как я.

Он в отчаянии искал выхода для своего ожесточения. Он проходил мимо Клелии. Она насмешливо заметила:

-- Вы напрасно так волнуетесь. У вас тоже будет припадок.

Но она сейчас же испугалась, увидя его глаза.

-- Я ведь не могу ударить тебя, моя милая, -- очень мягко, с униженным поклоном сказал он.

Она тихо потребовала:

-- Ударь меня.

Он повернулся к ней спиной. Герцогиня беседовала с леди Олимпией. Он неумоимо шагал мимо них, но они не обращали на него внимания. Наконец, он остановился сзади, не сводя с них глаз, весь поглощенный своей страстью. Обе были высоки, пышно развиты, выхолены, очень женственны и в высшей степени привлекательны. Но одна, здоровая и довольная, была похожа на крупное животное равнин, на большой цветок из красного мяса. Другая была лихорадочно горящей статуей на одинокой горе, белой, белой... Под тихо трепетавшими кружевами корсажа он видел обнаженные мышцы. Перед его глазами одежда соскользнула до бедер. Тело, безупречное, неподвижное, поднималось, высилось в триумфе. Чистые очертания форм вырисовывались в воздухе. Он расступался перед ее грудями. Они были гладки и зрелы. Их не, размягчил ни один поцелуй. Но их горячий мрамор томился по отпечаткам губ.

Сан-Бакко о чем-то спросил его. Художник пояснил:

-- Меня приковывает ослепительное зрелище обеих дам!

Он услышал ответ Сан-Бакко, сам сказал еще что-то и при этом удивлялся:

"Поразительно, что я настолько владею собой, чтобы не схватить ее в объятия!"

Со стороны камина доносился громкий и самодовольный голос господина де Мортель. Он говорил за плечами Беттины и Джины, которые робко прятали головы в большие папки с гравюрами. Они тихо и мечтательно показывали друг другу Мадонну Фрари и другую, с двумя деревьями.

Тяжелое настроение других совершенно не трогало Мортеля, и он старался доказать это. Он произнес целую речь, ясную и ловко составленную.

-- Джиан Беллини, -- сказал он, -- среди венецианцев -- психолог. Я предпочитаю его другим, он очень близок к Парижу. Он был всецело погружен в женщину. Сколько погребенных страданий, сколько угасших радостей снова оживают в его Мадоннах! Какие судьбы можно прочесть на всех этих прекрасных, озабоченных, поблекших, счастливых, задумчивых лицах! Каждая из его картин бросает новый многозначительный свет на

женские души: на души матерей, Христовых невест, пламенных святых, страдающих влюбленных и беспечных светских дам.

-- Вы забываете одну! -- воскликнул Якобус. Он подошел к беседующим.

-- Еще одну он разгадал и увековечил: Мадонну-губительницу. Я недавно видел эту картину, забытую и брошенную, в деревне, в жалкой церкви. На этой картине Мадонна восседает над ангелами; это -- сильная, дикая, бессердечная красавица, гордая властью своего тела над чувствами мужчин. Она бросает из-под тяжелых век презрительный взгляд на святого, который молится у ее ног.

Маленький, опустившийся священник рассказал мне о ней. Он был не брит, в грязной сутане, говорил язвительно, и от него пахло вином.

-- Если бы вы знали, сударь, -- сказал он, -- это живодерка. Еще никогда не исполняла она просьб. Наоборот, от нее скот болеет, а люди разоряются. При этом она околдовывает народ, так что он все снова приходит к ней. Он хотел бы побить ее камнями, но должен приходиться и молиться. Иной раз какой-нибудь человек в страхе жертвует ей сердце, убогое сердце из плохого серебра или олова. На следующий день сердце исчезает, как будто она пожрала его.

Все это Якобус произнес, высоко подняв голову, скрестив руки и в бурном гневе ища взгляда герцогини. "Эта бесплодная губительница -- ты!" Он не произнес этих слов, но она слышала их.

-- Он теряет самообладание, -- сказала она себе. -- Я постараюсь смягчить его... Нет, я попрошу его не посещать меня больше.

Леди Олимпия усадила ее в кресло.

-- Дорогая герцогиня, я в восторге. Что вы за жестокая Мадонна! Этот великий художник впадает в безумие, потому что вы его любите.

-- Потому что...

-- Признайтесь. Вы любите его и осуждаете на мучения. Он ожесточен этим -- разве он не прав?

-- Можем ли мы изменить это? Недалеко отсюда лежит без сознания человек, которого вы знаете, миледи.

-- Его я сделала счастливым, дорогая герцогиня, -- к сожалению, слишком счастливым... Он не может расточать любовь, он должен экономить. Это он забыл: отсюда и вся катастрофа... Что, если бы вы вняли мольбам своего великого художника? Простите, я кощунствую. Вы вся -- душа, вы так далеки от всего плотского. Поверите ли вы, что и я когда-то была такой? Мой брак с лордом Рэгг был примерным. Это почти забыто, -- но мой сын, великолепный мальчик, целомудренный и здоровый, теперь путешествует по континенту. Я думаю, вы познакомитесь с ним... Я не очень умна, как вы знаете, дорогая герцогиня. Но одному я научилась: чем строже мы считаем нужным относиться к своей плоти, тем она в сущности сильнее. Я увидела, что я счастливее, когда уступаю своим чувствам, чем когда подавляю их. Это так просто. Какое основание можем иметь мы, свободные и счастливые, становиться поперек своего собственного пути?

-- Никакого, -- ответила герцогиня. -- Я также никогда не подавляла своих чувств. Я была очень чувственной, когда мечтала о сильных телах

прекрасного и освобожденного мною народа. Я была очень чувственной, когда отдалась произведениям искусства.

-- Но теперь, когда дело идет о теле, вы подавляете свои чувства. Почему?

"Да, почему?" -- подумала герцогиня, ища ответа в своей душе. Пред ней, точно при блеске мгновенной молнии, встали забытые фигуры: бледные, подергивающиеся от страсти лица, жадно протянутые руки; ее парижские поклонники, окровавленные или обезумевшие; Павиц, в ногах дивана с разорванной обивкой, молящий о прощении; принц Фили в театральном костюме, запутавшийся шпагой в ее платьях и громко плачущий; делла Пергола, на полу, бледный от презрения к самому себе и решившийся сносить его.

Леди Олимпия улыбалась про себя. "Ее, должно быть, необыкновенно влечет к известной вещи, иначе она не сопротивлялась бы так упорно. Я еще услышу о ней много интересного".

Довольная этим заключением, она поднялась.

-- Я уезжаю, дорогая герцогиня, дня через четыре-пять. Но я надеюсь еще увидеть вас -- и притом счастливой.

-- В моей вилле в Кастельфранко. Я еду туда завтра.

-- Я заеду туда. До свидания!

Леди Олимпия простилась со всеми. Когда она выходила, вошел Зибелинд. Она невольно остановилась. Все умолкли. Зибелинд сделал нерешительную гримасу и провел влажной рукой по лбу. Он чувствовал себя разбитым и неопрятным, точно после ночи, полной невероятных излишеств.

-- Что со мной было? -- спросил он себя, стараясь рассеять туман, окутавший его мысли. -- Я во фраке. Ах, да, я был переряжен. Здесь еще осталось два рыжих волоса.

Он снял их. Затем он увидел свое отражение в зеркале.

-- Мои щеки так впалы, что кажутся совсем черными. Очевидно, с них смыли румяна. У меня вид больного сухоткой.

Он сделал шаг, хромя так сильно, что был слышен стук. Он был удивлен.

"Тебе хотелось бы бежать отсюда, мой милый, -- сказал он себе. -- Но этого не будет. Ты, кажется, был счастлив. Ты был дурак, что дал себя поймать на эту удочку, и предатель своей судьбы был ты. Теперь не угодно ли тебе признать ее и выйти к презирающим тебя! И прежде всего превосходство на твоей стороне, а не на их. Ведь они даже не пытаются разгадать, что теперь происходит в тебе. Ты же читаешь на незнающих страдания лицах наивно-суетные заботы каждого... О, страдание -- единственное величие для человеческого чела! Никогда у меня не было в такой степени, как в эту минуту, сознания своего мученического превосходства!

Он взял руку, которую протянула ему леди Олимпия; его горячие губы подобострастно коснулись ее. Затем он посмотрел ей вслед.

"Добродушная индюшка. Она уже раскаивается. Даже бессовестными до конца не могут быть эти счастливицы. И каким-нибудь "я не хочу больше"

они думают заставить забыть нас -- нас. Разве вы имеете понятие о чем-нибудь?"

Он с трудом приковылял на середину комнаты. Дамы вдруг оживленно заговорили друг с другом.

"Совершенно верно, это не могло быть иначе. Все в вас, каждая мысль, каждое слово, каждое колебание и каждое движение отвергает общение со мной. Вот этот выронит монокль и убежит от страха, что его могут смешать со мной".

Мортейль отошел от него.

-- А вот этот будет невыносимо сверкать на меня глазами. Достойная зависти жизнь, вся точно из одного куска, сохранила их совершенно чистыми.

Он проскользнул мимо Сан-Бакко.

-- Ну что ж, -- я не могу перенести твоего взгляда... Должен ли я опустить глаза и перед тобой, мой маленький друг? Смотри-ка, ты меня совсем не замечаешь; герцогиня слишком хороша -- кто может устоять перед ней? Ты стройный корабль, готовый в путь и нагруженный только надеждами, а я еще до отплытия превратился в обломки; но мы чувствуем на себе один и тот же удушливый ветер, правда?

Он проходил мимо Нино. Он искал чего-нибудь грустного; наконец, он шепнул:

-- Божественная женщина -- правда, почтеннейший? Да, да, когда я был еще молод и хорош...

Нино вздрогнул и посмотрел ему в лицо. Его охватило внезапное, смешанное со страхом отвращение. Он заторопился и протеснился мимо, дрожа и почти умоляя:

-- Нет! Я не хочу!

Зибелинд с удовлетворением смотрел ему вслед.

-- Это была естественная вспышка твоей души, мой маленький друг. Так ужасен я не был бы для тебя, если бы ты был совсем здоров. Но с тобой дело обстоит так: не знающая границ воля, желания, обнимающие мир, в несостоятельном теле. И таковы они все! Таковы все, кто теперь становится на сторону жизни и ее силы!

-- Кто твои братья, Нино? Монарх, полный изнурительного желания топтать страны и бичевать моря: в глубоком мире растирает он свои легко коченеющие золотушные члены. Воинственный певец новой империи: кровь, лавры, тропическое солнце пылают и шумят, когда он ударяет по струнам лиры, и вызывают разнузданно-хищные крики; сам же он маленький человечек, не выдержавший жары в обширном царстве своих идей. Величественный поэт величественной расы: он также неумоимо славит красавицу, сильную, дышащую жизнью красавицу, которая лежит на его постели -- но ее зачали его предки, и его искусство сплошной блуд... А возвышенный философ, завершение столетий: двадцать три с половиной часа он думает только о своем здоровье, чтобы в последние тридцать минут написать гимн жизни... Никуда негодные нервы, слабые легкие, рахитичная грудная доска, распухшие железы, немножко гниения там и сям в теле, --

но даже в припадке мужской истерии жажда величия: таковы вы все. Маленький Нино, ты характерный тип своего времени. На вид ты смел, свободен, прекрасен и безупречен и рожден с глубоким отвращением ко всяким страданиям и к тем, кто таков, как я. Но из нас двух более совершенен я: я признаю себя. Ты хотел бы быть тем, чем ты быть не можешь. Берегись женщин, они разденут тебя донага!

Вдруг Зибелинд заметил, что Мортель смотрит на него, сморщив нос, очень свысока и с подозрением в холодных глазах. Зибелинд понял это подозрение; он подскочил кверху.

-- О небо, теперь этот остроумный человек приписывает мне сластолюбивые чувства по отношению к мальчику, -- громко и внятно сказал он проходившему мимо Якобусу. Художник остановился. Зибелинд овладел собой.

-- Он, надо вам знать, предполагал раньше то же самое у Сан-Бакко. Впрочем, я беру на себя и это. В данный момент я утопаю в самоуничижении, уверяю вас... Это, вероятно, удивляет вас. Я сегодня несколько раз заявлял, что очень тщеславен. Да, любезнейший, это было тщеславие человека, который, весь израненный и изъеденный культом своего презираемого "я", хотел бы заставить верить самого себя, что придает значение мирской суете. Как только он начинает чувствовать по-настоящему, мнение невежественных счастливых даже не безразлично ему, -- ему противно, если они по ошибке думают о нем что-нибудь хорошее. Но своей шумливостью он опьяняет себя до жажды любезности и теплых рукопожатий и, чтобы избавиться от своего несчастного ясновидения, накладывает на себя румяна истерического тщеславия.

Он вдруг оборвал. Дыхание Якобуса становилось все прерывистее. "У него такой вид, как будто он хочет броситься на меня", -- подумал Зибелинд.

Но Якобус сказал очень холодно:

-- Неужели вы не замечаете, что никогда не перестаете носиться с собой? Когда на вашу долю выпало счастье, вы до тех пор копались в нем, пока оно не разлетелось вдребезги. Теперь вам плохо, и вы метите обнажением всех своих злополучий. Вы глубоки, о, да, вы вечно докапываетесь до зловонных глубин и притом всегда в своем собственном "я". В этом ваша наивность: в интересе, который должно возбуждать ваше "я", вы никогда не сомневаетесь. Совершенно напрасно, потому что вы совсем неинтересны. Удивляйтесь, сколько хотите!

И он повернулся к нему спиной.

Зибелинд и в самом деле был удивлен. Мало-помалу его обдало жаром, и ему захотелось затопать ногами и закричать: "Я не интересен? Я не интересен?"

* * *

По знаку герцогини Якобус подошел к ней. Он нагнулся над ее креслом.

-- Итак, в виду того, что иначе отпадут листья... -- сказала она. Он тотчас понял.

-- Вы должны прибавить: и ваши собственные листья могут увянуть.

-- Как это невежливо!

-- Мне не до вежливости. Теперь, в эту минуту, вы -- Венера, зрелая и выхоленная. Ваша красота не может больше возрасти и еще не уменьшается. Это момент, который не вернется. И также мой момент -- единственный; только в нем живет творение, и оно умерло бы вместе с ним. У каждой цели нашей жизни мы встречаемся. Несомненно, никогда два человека, в этом особенном смысле, не были так тесно связаны, герцогиня, как мы. Как сильно я чувствую это! Мы созданы для того, чтобы возвышать друг друга, делать друг друга изысканнее, великолепнее, помогать друг другу в достижении совершенства, и, наконец, на высоте, боготворить один другого без желаний.

-- Какие пламенные слова!

-- Это правда, они не нужны. Вы и без того сделаете все, что я хочу, станете моей возлюбленной и моей моделью.

-- Серьезно, я не буду больше слушать.

-- Это не поможет вам. Вы уже раз выслушали меня: между нами лежал умирающий свидетель, который не выдаст ничего из услышанного. Этого нельзя изменить.

-- Раньше, когда вы поделились с нами историей жестокой Мадонны, -- знаете, что я собиралась отказаться от знакомства с вами? Я не делаю этого, заметьте. Я не боюсь быть скомпрометированной вами. И я не хочу, чтобы вы вообразили себе это. Ваши желания и мысли остальных -- все это только игры вокруг меня.

-- Я знаю, вы остаетесь недоступной.

-- Потому-то ваши притязания так чудовищны?

-- О, с вами, герцогиня, нужно идти напролом, хотя бы и рискуя сломать себе шею. Перед вами нужно разыграть сверхчеловечески сильную, не останавливающуюся ни перед чем, мужественность. Простой мужской любви вы не понимаете; она не достигает до вас. Ваше естественное убеждение, -- что вы единственная в своем роде, недоступная остальному человечеству и неспособная приблизиться к нему. И вы, действительно, таковы! Вы не можете, не обманывая себя, стать чьим-нибудь другом! Как вы достойны сострадания! Даже в любви -- и какой любви! -- с вами возможна только вражда, -- еще хуже: внутреннее отчуждение.

Он увидел, как она испугалась, и его бросило в жар от желания заключить ее в объятия.

-- Простите, -- беззвучно сказал он, -- это были только злые слова. Я буду любить вас во всем вашем одиночестве. Забудьте боль, которую я только что причинил вам. Мы будем очень любить друг друга и не будем мучить один другого.

-- Будем надеяться, -- ответила она.

-- Мы достаточно боролись друг с другом прежде.

-- Это, по крайней мере, верно. Я жажду покоя. Вы оставите меня на даче несколько времени одну. Я возьму с собой только Нино.

-- Вы напишете мне, когда мне приехать?

-- Не знаю... Фрау Беттина!

-- Герцогиня?

-- Я скоро напишу вам и попрошу вас навестить меня. Вы приедете?

-- Да.

Клелия молча ломала руки. "Она слишком глупа!"

-- Джина, -- сказала герцогиня, -- вам надо было привести в порядок дела у себя на родине. Когда вы уезжаете?

-- Я уехала бы сейчас, но Нино не хочет.

-- Ты не хочешь?

Он посмотрел ей в глаза.

-- Нет.

-- Тогда поезжай на дачу со мной, пока твоей матери не будет здесь. Мы будем совершенно одни друг с другом и будем очень счастливы.

* * *

На следующий день они уехали. Вечер был уже близок, когда они поднялись на гору к вилле. Нино замолк; он думал: "Я сижу на этих шелковых подушках возле моей Иоллы, я увожу ее в волшебный замок. Он окружен густой чащей. Никто не может проникнуть к нам. Я поклялся себе, что это будет так. Но думал ли я в самом деле, что это будет?"

Холмы с виноградниками и поля с масличными деревьями медленно поднимались вверх. Дорога вилась по ним между серыми стенами, на которых цвели узкие ряды бледно-красных роз. "Они стоят так тихо, прямо и благоговейно, -- подумал мальчик, -- как розы на старых картинах, стоящие на страже перед Мадонной".

Вдали, высоко в воздухе, среди волнующихся верхушек деревьев выступила лестница -- несколько узких ступенек; под ними снова смыкались деревья.

-- Там мы поднимемся наверх, -- сказала герцогиня.

-- Там мы поднимемся наверх, -- повторил он, не понимая этого, не веря в это. Лестница вдали, высоко в воздухе, манящая среди выющейся зелени и исчезающая, кто знает куда, вероятно, в мир сказки, -- по ней он поднимется с Иоллой... Этого блаженства нельзя было вынести. Он вздохнул.

-- Я хотел бы, чтобы мы никогда не приезжали, -- тихо сказал он.

Она засмеялась.

-- Ну, что ж. Как свежо пахнет вся эта листва. Здесь солнце мягкое и благостное. Ты знаешь, от каналов очень несло гнилью.

Она вспомнила, как безрадостно скользила в узкой тени ее гондола. Медное небо тяготело над безгласными дворцами. "Я хочу отдохнуть", -- подумала она. Она вздохнула полной грудью, ее взгляд скользнул по лабиринту виноградных лоз, по широким серебряным волнам маслин, по мирной, солнечной равнине. На холмах лежали тени от облаков. По откосу, озаренные последними лучами или прячась в сумраке, насторожившись, стояли виллы. За ними высилась синевато-черная стена хвойных деревьев. Повсюду среди гирлянд сверкающей или матовой зелени выступали

каменные острова. Башни с зубцами, стены, галереи с колоннами, длинные флигеля замков были раздроблены на куски тенью от сплошных масс деревьев или, ослепительно сверкая, вырезывались в дымке дали.

-- О, отсюда далеко... до него. Здесь я в безопасности.

От невидимых клумб у их ног, из-за заборов, доносился запах гелиотропа. Лошади фыркали, с их морд слетала пена, легкая и блестящая. Над полем, внизу развевался розовый покров, точно вышитый на бледной ткани масличных листьев.

-- Теперь мы, верно, все-таки приехали? -- спросил Нино. Они остановились у каких-то ворот. Стена была вся закрыта плющом. Ее осеняли блестящие и тяжелые дубы. Прибежал, размахивая руками и выкрикивая приветствия, какой-то старик. Показалось еще несколько человек.

-- Оставайтесь здесь все, -- приказала герцогиня. -- Мы пройдем по лестнице.

Они вышли из экипажа; он описал широкий полукруг и поехал вверх по дороге. Герцогиня все еще говорила со стариком; Нино искал подъема.

-- Сюда, молодой барин, -- сказала одна из служанок. Она взглянула на него; ее язык красной змейкой высунулся из-за передних верхних зубов.

Подошла герцогиня; они пошли прямо по шедшей наискос лужайке. Перед черной тенью, которой сомкнувшиеся стены лавра покрывали ее задний план, дыбился, сверкая, готовый взлететь крылатый конь. Рядом с тенью мягко блестела трава.

Затем они поднялись в самую середину лиственных стен. Туда вела двойная лестница; обе ее половины та расходились, то сходились в углах и поднимались вверх целым рядом террас. Они то сливались в одну отлогую широкую лестницу: наверху ее в нише из блестящего лавра, на пьедестале, из которого бил источник, возвышался Аполлон и, с лирой у бедра, властно ждал приближавшихся; то перед взбиравшимися был узкий крутой подъем, и в шорохе листьев они слышали тихий смех сатира, высовывавшего из зеленого мрака свои остроконечные уши.

Вдруг Нино откинул назад голову.

-- Иолла, вот дом. Он весь открыт и полон роз. Мы в самом деле будем жить там?

-- Среди роз -- если ты хочешь. Они выются по колоннам, видишь? Колонны поддерживают лоджию; она утопает среди лавра и роз. Вдоль нее тянется балюстрада, которая возвышается над этой лестницей и окаймляет холм сада. На ней белые бюсты, я назову тебе их все по именам. Это все люди, которыми мы можем гордиться, так как в жизни каждого из них было что-нибудь прекрасное.

Они вышли на светлую площадку; под приветственное журчанье фонтана дошли до дома. Он был низкий, длинный, окна в нем были высокие, блестящие, с остроконечными фронтонами. Ступени крыльца отлого поднимались между группами туй с их светло-лиловыми плодами.

Они пообедали в прохладном зале. Его пять окон были открыты. За ними висела розовая дымка. Вдали ее прорывали черные конусы кипарисов. Их края, один за другим, окрашивались серебром. Наступал вечер.

Ночью Нино проснулся. До его слуха доносилось чирканье сверчков и плеск фонтана. Он смотрел в темноту и думал. Вдруг он ощутил на своем лбу крепкое и мягкое прикосновение.

"Да, она была здесь вчера вечером и поцеловала меня. Я уже спал, но я все-таки почувствовал это. Я чувствую это еще и теперь. Теперь она, конечно, спит, и я думаю о ней, только я один. Ведь в этом большом доме нет никого, кроме нас двоих. Я попробую ясно представить себе, что, кроме Иоллы и меня, никто не может слышать плеска фонтана. Вот стукнуло окно, не ее ли? Как странно! Между мной и ею наверно тянутся длинные, незнакомые коридоры. Я не знаю двери, через которую она вошла. Не знаю, какие деревья заглядывают к ней в комнату. И все-таки, если бы я теперь сказал: "Иолла", быть может, она услышала бы меня. Так близка она и так неощутима; как будто мы оба духи. Это призрачный замок. Вчерашние слуги теперь наверное опять стоят в кустах в образе мраморных статуй с козлиными ногами"...

Утром, еще с закрытыми глазами, он со сладким испугом вспомнил, где он. Он встал, все еще не раскрывая глаз, ощупью добрался до окна, высунулся далеко из него и открыл разом объятия и глаза. Вокруг все щебетало, блестело и голубело. В водной глади отражались плоды, а в мокрой от росы траве -- цветы. Из бассейнов пили птицы вместе с тритонами. Каменные чудовища поддерживали чаши, с которых капала вода. У них были белые плечи; рука, черпавшая воду, и съездившееся мясистое бедро, по которому она текла, были покрыты мхом.

-- Посмотри, какой прекрасный плод, -- сказал кто-то, тихонько хихикая. Нино посмотрел на знакомое уже ему лицо девушки. Она опять высунула кончик языка. У нее были широкие бедра, кудрявые волосы, румяные щеки. Положив руку на шпалеры, она разглядывала голые ноги мальчика и его бедра, обрисовывавшиеся под рубашкой. Он свесился над железной решеткой окна; оно было открыто до самого низа.

Ее язык задвигался; вдруг она бросила вверх персик. Он ударился об узкую и неловкую руку Нино и упал в траву.

-- Какой ты неловкий, молодой барин!

-- Ведь я не просил у тебя персика.

-- Но все-таки возьми его!

Она опять прицелилась; он поймал. Затем он отошел от окна. Он одевался и думал:

"Иолла еще не встала, еще очень рано. Пойти мне поискать столовую? Нет, лучше я не буду пока ничего узнавать здесь; пусть этот дом останется призрачным замком... Какой пышный этот персик! Почти как волосы Иоллы. Он разбухает у меня в руке, как будто весь наполнен соком".

Он съел его. Затем выглянул в окно; девушки не было. Он спустился по шпалерам вниз и побежал между магнолиями, гранатовыми деревьями и земляничными кустами с мягкими, липкими плодами, туда, где дубы

смыкали в беседке свои подстриженные верхушки. Наверху, в воздухе, они ярко блестели, глубокая ночь царила под их крышами, а перед их воротами покачивались дикие розы. Высоко над ними, где-то вдаль, возвышалась сверкающая статуя бога. Они перекрещивались, образуя сложные, запутанные лабиринты; Нино заблудился в них, в погоне за далекими целями, которые то исчезали, то открывались взору -- за вазой, статуей или мраморным порогом в изумрудной траве, которые манили и обещали: "Здесь самый мягкий дерн, самое ласковое солнце, самая приятная тень".

Нино не давал ничему задержать себя, он думал, что дальше будет все прекраснее. Он нашел горную тропинку и, выйдя из сада, поднялся по ней до вершины. Наверху, на ветре, выделяясь венком на фоне светлого облака, стояли шесть кипарисов, неподвижные, точно высеченные из зеленого мрамора. Нино вступил в их круг, но запутался в лежащих на земле сетях. Из деревянной хижины за деревьями выбежал вчерашний старик, крича и размахивая руками.

-- Не иди дальше, молодой барин, сейчас я их поймаю.

-- Кого?

-- Птиц. Ты не видишь? Вот так я стягиваю эти сети. Я могу сразу поймать сто штук, -- что я говорю, тысячу! Как ты думаешь, сколько я поймал в прошлом году? Тридцать тысяч. Во всей стране...

Он указал вниз.

-- ...едят моих птиц.

Мальчик вспыхнул:

-- Это не твои птицы. Я запрещаю тебе убивать их.

Старик беспокойно задвигался.

-- Птиц? А для чего же существуют птицы? Их ловят; наша госпожа, герцогиня, никогда не запрещала этого.

-- Она, конечно, ничего не знает об этом. Поэтому я запрещаю тебе это, я!

Он топнул ногой.

Как безобразен был этот старик: лысый, с высокими плечами, с длинными хрящевидными суставами, -- и он убивал прекрасных птиц. Нино гордым шагом обошел кипарисы и презрительно наступил ногой на сети. Затем он направился к спуску. Старик побежал за ним.

-- Молодой барин, сжался над бедным стариком, не говори ничего госпоже герцогине.

-- Я не могу ничего обещать, -- отвечал Нино, поспешно уходя.

"Я, конечно, не скажу ей, -- размышлял он, -- рыцари не хвастают. Это был настоящий старый колдун. Я не выпущу его из виду: я еще вырву из его рук все прелестные создания, которые он хотел бы убить".

Он засвистал, обратив лицо кверху. Там плыли облака: одно было похоже на женщину в легкой развевающейся одежде; другое, рядом с ним, имело форму кольца, а синева, которую оно окружало, показалась ему глубокой, как колодезь -- золотой в глубине, как будто на дне его скрывалась корона.

На повороте перед ним открылся сад. Он взглянул вниз на дубы. Длинные цепи роз обвивали их блестящие своды и реяли на заднем плане, как

розовый дым. В глубине несколько белых известковых пятен прорезывали кусты.

-- Там находится замок, -- громко сказал Нино. Он приложил ко рту сжатую в кулак руку и затрубил, как в рог. Затем он обернулся, как будто позади него ждала свита.

-- Не правда ли, дровосеки, это замок, где спит Царевна-Роза? Я знал это. Вы, мои егеря, вы, оруженосцы, оставайтесь здесь. Держите псов на привязи. Пусть никто не следует за мной: изгородь откроется только передо мной. Я прихожу через сто лет.

Он спустился вниз и, не торопясь, упершись рукой в бок, дошел до балюстрады над террасами. Он сбежал по двум лестницам, провел пальцами по толстым заржавевшим струнам лиры Аполлона -- они остались немые, -- и посмотрел вверх. Лоджия ширилась на солнце, полная роз. Он опять поднялся наверх до ее сводов. По перилам он пробрался прямо в заросль из лавра и роз, из которой она выступала. Он выпрямился во весь рост, измерил глазом расстояние. Лоджия была защищена низкой, резной мраморной стеной. Из-за нее выглядывал выкованный факельщик. Нино удалось схватиться за него, он подтянулся кверху и перебрался через ограду. На его плече осталась зацепившаяся ветка роз.

Он не оглянулся: упершись рукой в бок, вошел он в открытую дверь зала. Внутри в плетеном кресле лежала герцогиня. Она опиралась щекой о правую руку. Левая была небрежно опущена вдоль складок белого платья; медленно скользила вниз выпавшая из нее книга.

-- Милая Иолла, -- шепнул он и "милая, милая Иолла", -- все громче и громче, пока она не услышала.

-- Откуда ты вошел?

-- Из сада.

-- Как это возможно, ведь стена выше тебя.

-- Ты ошибаешься, это возможно. К тому же я хотел этого.

-- Иди-ка сюда, -- воскликнула она, быстро поднимаясь. -- Посмотри вниз. Здесь круто, правда, и высоко. Я и не знала, что ты такой хороший гимнаст.

-- Этого и нет на самом деле, -- краснея, пояснил мальчик. -- Но только я играл в "Спящую красавицу". Я был принц.

-- Ах! А я...

-- О, нет, не ты, -- поспешно заявил он, опуская голову. Но тотчас же опять поднял ее, побледнев.

-- Да, ты, Иолла.

-- Я горжусь этим, -- сказала она без улыбки. Она отцепила шипы с его плеча и приколола розы к своей груди.

-- Что ты делал еще? -- спросила она.

-- Я запретил низкому человеку делать зло.

-- Надеюсь, он повиновался тебе?

-- Конечно.

-- Ну, ты не потерпел бы непослушания.

Он совершенно серьезно посмотрел на нее. Она вспомнила слова своего отца: "Самое худшее -- это если бы кто-нибудь отнесся к тебе непочтительно. Я жестоко наказал бы его. Если бы это было необходимо, я велел бы отрубить ему голову".

Затем она осведомилась.

-- Ты уже знаешь аллею молчания?

-- Кажется, нет.

-- На теневой стороне у откоса. Сегодня после обеда мы пойдем туда, хочешь?

После обеда она отдыхала, а он скучал и с любопытством думал об аллее молчания. Но он не пошел туда. Он сидел со своим Данте у каменного стола, среди крытой галереи из дубов, в том месте, где ее прорезывали другие аллеи. Здесь на легком сквозняке шелестели листья, и он часто оборачивался, думая, что это ее шаги. Но вдруг в то мгновение, когда он углубился в стихи, ее рука легла на его затылок. Он не шевелился, втайне трепеща -- пока она не позвала его с собой.

Они перешли через холм; высокие тун окаймляли откос, беспорядочно переплетаясь ветвями. Между их тяжело благоухавшими стенами наверху разливался поток синевы. По краям тихой дороги стояли запоздалые каменные гости. Мужчины в тогах опирались подбородками на руки; мощные женщины разглядывали свои маленькие ноги; прекрасный быстроногий Гермес с удивлением нес на руке крошечное дитя.

Внизу перед ними открылась обширная круглая площадка, темная от окружавших ее хвойных деревьев и кустов. Вдоль них кругом тянулись старые мраморные скамьи. Середину площадки занимал обширный, загроможденный рифами бассейн. Наяды заманивали нагих всадников; они бросались в воду, размахивая мечами. С самого высокого рифа грозил им поднятым трезубцем Нептун. Наяды с развевающимися волосами убегали, испуская застывший в камне крик. Они бросались в каскад. Тритоны благоприятствовали их бегству, но внизу, положив одну ногу на край бассейна и похотливо улыбаясь, ждали их сатиры и фавны.

Герцогиня перегнулась через решетку и смотрела на эту игру.

-- Этот бассейн богат приключениями, -- сказала она, -- и беден водой.

Нино сказал:

-- Я знал, что ты сегодня будешь стоять у этого бассейна.

-- Так ты все-таки был уже здесь?

-- Нет...

Мальчик заглянул в водоем; небо было чисто, и он был весь наполнен синевою. Потом он посмотрел на свою возлюбленную. Она была в мягком белом платье; оно свободно падало вдоль ее фигуры. Она пошевелилась, что-то сказала, и легкая ткань заколебалась вдоль ее членов, обрисовывая все их очертания. Он вспомнил о реявшем облаке.

-- Но я видел это на небе, -- сказал он.

Она не ответила; склонив головы, прислушивались они к пробуждению фонтанов. Парк был полон ими. Они лежали спрятанные далеко в чаще и иссякали. Но теперь, в глубокой тишине, они приветствовали друг друга.

Они шептались, вздыхали и едва слышно пели. Мальчику казалось, что это голоса цветов, переливавшихся яркими красками на платье его возлюбленной, вдоль ее тела, -- кто знает, быть может, и голоса ее тела? На него пахло изнеможением, соблазном грез, желанием сложить руки и отдаться всецело. Он думал: "Иолла носит теперь более широкие одежды. Прежде она ходила в узких платьях и быстро. Теперь она охотно отдыхает, она бледна и закрывает глаза".

В эту минуту он услышал ее голос:

-- Ты тоже живешь чувством, Нино, -- ты тоже. Я много лет жила так, отдавала себя грезам и картинам и чувствовала, чувствовала. Теперь моя жизнь мне представляется странствованием по горячему песку пустыни, с пересохшими губами и сожженными подошвами. Теперь мне хотелось бы достигнуть оазиса и освежиться. Я хотела бы, чтобы меня обведали опахалами, а я не думала ни о чем. Я хотела бы, чтобы меня любили.

Она не поднимала головы. Слова падали одно за другим, точно она роняла их в воду. Они ускользали от него и наводили на него робость.

-- Ты видишь, -- сказала она, -- я говорю с тобою, как с истинным другом. Ты и Сан-Бакко -- мои друзья.

-- Иолла... -- пробормотал Нино.

-- Как благодарна я тебе за это имя. Как это ты придумал его? Знаешь, за всю мою жизнь еще никто не называл меня ласкательным именем... Я хотела бы, чтобы меня любили, -- слабо повторила она.

Через некоторое время она выпрямилась и подошла к скамье. Она села в угол, спиной к пустому цоколю. Нино пламенно и робко смотрел на нее. Платье собралось над ее скрещенными ногами в мелкие, резко очерченные поперечные складки. Более длинные, спускавшиеся с плеч, пышными волнами окружили ее бедра. Одна рука поддерживала голову, светлым пятном выделявшуюся на темной завесе деревьев. Другая небрежно опиралась о старую, обросшую зеленым мхом мраморную спинку. Она казалась нагой до плеча в прозрачной серебряной раковине пышного рукава. Она попросила:

-- Теперь скажи мне, что ты читал, когда я пришла?

Он посмотрел вверх. На двух кипарисах за ней, на самой верхушке, сидели два белых голубя и ворковали. Он тихо начал, устремив взор на вершины кипарисов:

Amor ch'acor gentil ratio s'apprende,
Prese costui.

Он декламировал все дальше, не задумываясь. Слова приходили вместе с воздухом, он не звал их. Он не знал ни одного любовного стихотворения, кроме стихов о Франческе. Она смотрела снизу на его лицо; свет сиял на нем, освещая блаженное страдание, восторженное стремление слиться с этими стихами -- стать одним сладостным словом из многих и вместе с воздухом, который доносил их до нее, на секунду прильнуть к ее груди.

Вдруг его взгляд опустился вниз, на ее руку, ее шею. Нино запнулся; он медленно покачал головой. Она прочла в его глазах: "Что пользы во всех стихах, что в опьяняющем порыве, от которого замирает сердце!.. Твоей красоты не достигнет ничто. Она неумолима. Почему ты смотришь на меня так устало и так тепло из-под тяжелых век? Иолла, милая Иолла, твоя красота жестока".

Затем он закончил:

Quell'orno piu non leggemmo avante.

Он, вздохнув, сел рядом с ней. Они молча смотрели на неутомимую работу вечера. Как вчера, расстилал он по воздуху свои розовые покрывала. Верхушки обоих кипарисов прорезывали их, а две белые голубки в них запутались. Они тихо улетели прочь; ноги их были похожи на капли крови.

Круглая площадка медленно погружалась в сумрак. Герцогиня взяла мальчика за руку; они опять прошли аллею молчания. В косом солнечном луче фиолетовым светом сверкнул гравий. Каменные фигуры уже принадлежали одиночеству и мраку. Одна из них засветилась; когда Нино обернулся, она была уже едва видна. Лениво тянулся между черными зубцами туй бледно-серебристый поток неба. А под ним все хранило молчание: молчали безропотные мудрецы, терпеливые, влюбленные, запуганные боги.

Мальчик молча шел рядом со своей возлюбленной; ее одежды колебались. Он торжественно говорил себе:

-- Я тоже когда-нибудь умру, как это ни странно. Тогда я буду думать о том, что я пережил этот день. Что все остальное в сравнении с этим!

* * *

"Неужели это невозможно?" -- спрашивал он себя в течение целой недели, в лабиринтах рощиц, на горе, у бассейна и в своей комнате. "Что?" -- отвечал он самому себе.

"Она называет меня своим другом. Никогда не смеется она надо мною, даже тогда, когда я выдаю себя и стыжусь. Она сама открывает мне свои тайны, -- я не понимаю их, но они пугают меня, и мне чудится, что это говорят фонтаны в чаще... Разве она не могла бы любить меня, как мужчину? Это звучит нелепо, это я, конечно, знаю, но предположим на минутку, конечно, не серьезно. Ведь я уже не ребенок, ростом я только немного меньше нее, не так ли? Я вспоминаю образ святой Катерины, в нашей лицейской церкви. Какая высокая, мощная женщина, -- и как взволнованно и нежно подает она свою пышную руку своему жениху: маленькому Иисусу.

Она прекрасна в своем белом платье и золотом плаще, вся увешанная нитями жемчуга! В волосах у нее корона, полная драгоценных камней. Поют ангелы; за ними вокруг белых колонн обвиваются красные хоругви... Какое торжество! Так должно было бы быть, именно так, с Иоллой и со мной".

Он умолял самого себя, в страхе, что его мечта сейчас рассыплется в прах.

"Подумай, ведь если бы мне было восемнадцать лет, нет, только семнадцать, и у меня было бы на подбородке два-три волоска, никто не удивлялся бы. Ведь известно, что Антонио Фабриции, из восьмого класса, любовник жены одного полковника. Мне недостает трех лет, только всего. Куда же годится мир, в котором неизмеримое счастье -- разве я знаю, что это вообще было бы такое? -- не может существовать только потому, что человеку не хватает трех лет?"

Он рвал платье у себя на груди, ломал руки.

"Почему ты не растешь, не становишься шире? Я готов заключить союз с дьяволом. Пусть он сделает меня мужчиной, на один только год, и даст мне любовь Иоллы. Пусть тогда он возьмет мою душу... Один год? Нет, один день. За один день я сделал бы это! К сожалению, дьявол не хочет ничего знать обо мне, вероятно, потому, что я ничего не знаю о нем. Зачем мы неверующие! Подожди-ка..."

И он погружался в предположения о реальности или сказочности всего божественного. Они медленно препровождали его в царство сна.

Утром он решал с бьющимся сердцем:

-- Я спрошу ее, не выйдет ли она за меня замуж. В сущности, это, может быть, очень просто, только мои сомнения осложняют дело. Говорят, что у любящих всегда так бывает... Она скажет "да", потому что любит меня. Мы подождем, пока мне исполнится двадцать лет...

Вечером он натягивал одеяло до подбородка, стискивал зубы и бормотал:

-- Как это мне приходят в голову такие безумные мысли?

Просыпаясь, он всплескивал руками.

-- Но я так люблю ее. Не должна ли она ответить мне тем же? Никто не может принять безвозмездно столько любви, это было бы слишком несправедливо: любовь не допустила бы этого.

Amor ch'a nullo amato amar perdona.

"Иолла бледна, она утомлена, она носит просторные платья. Она говорит: "Я хотела бы, чтобы меня любили", -- конечно, она подразумевает меня".

А ночью он стонал:

-- Не меня, я знаю, а того, другого!

Он обеими руками брался за голову; она болела от напряжения, с которым он подавлял в своем мозгу истину.

-- Не думай, -- кричал он тому Нино, который не хотел отказаться от самообмана, -- что я серьезно слушаю твои невозможные выдумки. Ведь я все-таки знаю, что будет!

Он не знал ничего, -- и это было самое ужасное.

Однажды после обеда герцогиня сказала:

-- Сойдем вниз на дорогу! Я жду гостей.

Он ничего не спросил; кровь у него застыла.

-- Фрау Беттину и ее мужа, -- пояснила она.

Дорогой они почти не разговаривали. День был душный. Раз, на повороте, мальчик увидел наверху, между массаами зелени, белые ступени.

"Теперь они исчезнут навеки, -- подумал он. -- Они уже не поведут меня в царство сказки".

Он закусил нижнюю губу; ему удалось не заплакать.

Герцогиня сказала устало:

-- Очевидно, они не приедут. Вернемся.

Нино шел, колеблясь между надеждой и отчаянием. Лестница показалась снова. Вдруг он сказал себе холодно, почти испытывая облегчение:

-- Теперь все кончено.

Он услышал стук экипажа. Из него вышли Якобус и его жена. Он присоединился к герцогине. Нино шел впереди с фрау Беттиной. Тупое спокойствие не покидало его; он лег с ним в постель и спал в течение часа.

Затем он открыл глаза, и вдруг сон соскочил с него, как в разгаре дня. Страх пронизал его до кончиков пальцев. При каждом треске дерева, при каждом шорохе листьев в саду его нога сама собой высовывалась из-под одеяла.

-- Теперь ночь, теперь ночь. Что происходит теперь, -- боже, что происходит теперь? Вместе ли они? Когда двое любят друг друга... Где они, в спальне у Иоллы? Я все еще не знаю коридоров, которые ведут туда, двери, через которую она входит. Я не знаю решительно ничего! Что они делают? Когда в школе рассказывали истории о женщинах, я представлялся, что понимаю. Зачем я не попросил объяснить их себе! Маленького Миньятти! Я мог бы пригрозить прибить его, чтобы он не рассказал никому... Они целуются, конечно, потом они раздеваются. Потом ложатся в постель? А потом, что потом?

Он закрыл рот рукой и застонал.

-- Нет! Они лгали! Все женщины могут делать такие вещи. Но ради Иоллы я отрицаю их. Я отрицаю, что такие вещи существуют!

Он стал на колени в постели и умоляюще протянул руки, обливаясь слезами, обезумев.

-- О, не допускай этого!

Вдруг он вздрогнул и упал ничком. Он услышал за окном шум. "Это шаги". Он был уже у окна. Кто-то выступил из тени дубов. Только один? Да, только один. Вспыхнула сигара: это был Якобус. Он подошел ближе и узнал мальчика.

-- Нино, ты не спишь? Сходи же вниз.

-- Сейчас! -- крикнул Нино, отбегая от окна. Он любил этого человека!

"Он бродил по аллеям, пока я лежал и воображал всякий вздор. Все, все это неправда".

Он наскоро оделся и сбежал в сад. Среди ликования его охватил страх, что ноги могут отказаться служить ему. Он сказал, наконец, облегченно вздыхая:

-- Вот и я.

Они долго шли рядом. Якобус думал:

"Я не выдержу этого -- спать под одной крышей с ней и вдали от нее. Это унижение. Я совсем не лягу. По крайней мере здесь со мной этот мальчик, который мне так симпатичен. Я думаю иногда, что, если бы его не было, она меня совсем не любила бы. Для меня было благодеянием знать, что он с ней".

Он вынул папиросы.

-- Хочешь?

Нино закурил, наслаждаясь своим спокойствием и уверенностью.

"Он возле меня, -- вот, мне стоит только протянуть руку. Ничего не может случиться".

И они бродили под мерцающими звездами; спускались с горы и опять поднимались на нее, без усталости ходили между туями с ярко освещенными лунной статуями и в тени рощиц, вдоль изгородей из роз, сквозь чащу и вокруг бассейнов, -- но ни разу не прошли вдоль дома, под открытыми окнами, откуда ночной воздух доносил до них сонное дыхание их возлюбленной.

* * *

"Я не спал почти всю ночь -- из-за Иоллы", -- с гордостью говорил себе Нино. Но он чувствовал себя усталым и вяло слонялся по дому. После обеда, когда даже голоса птиц заснули и слышно было только, как молчит погруженная в задумчивость жара, он прокрался вниз по аллее статуй, мимо большого бассейна с его всадниками, нимфами и тритонами, и вошел в кусты, густо обступившие круглую площадку. Ему пришлось пробиваться сквозь них, по узким тропинкам, под шипами. Цветы чертополоха протягивали свои желтые головки и странно благоухали. Зашуршала белка. У ног мальчика с хриплым криком взлетела, хлопая крыльями, большая робкая птица.

Наконец, мальчик добрался до обширного треугольника, заросшего травой и уже давно попавшего во власть разрастающегося кустарника и потерявшего свою форму. Его закрывала завеса из высоких платанов, одетых плющом. Она отрезала самый острый угол площадки. Нино пробрался в это убежище. Под нависшей скалой в высоком дерне виднелось что-то мраморное, поросшее мхом. Когда-то это, очевидно, был водоем бассейна; еще прежде -- саркофаг. Над ним, у скалы, неподвижно глядела большая каменная маска; когда-то она, очевидно, выплевывала воду. Другая, с пустыми глазами и открытым ртом, зевала в стене античного бассейна; через нее когда-то выливался излишек воды.

Нино проделал дыру в плюще, вившемся по краям. Он вполз в отверстие и вытянулся на подушках сухих растений. По пальцам у него проползла медянка и исчезла. Он был совершенно один. Над ним, по воздушному потолку из сердцевидных листьев, пробирался, спиной книзу, толстопузый паук. Было тихо, прохладно, пахло увядшими листьями. Ему достаточно было слегка приподняться, чтобы вложить лицо в маску, которая служила истоком. Сквозь ее глазные впадины он видел запущенный треугольник с нетронутым человеческой ногой дерном. Несколько солнечных лучей

встретились и затерялись в нем. Блеснул цветок. Запела синица. Небо было темно-синее. Нино упал на свое ложе и заснул. Проснувшись, он услышал где-то сзади голос Якобуса.

-- Что бы я ни делал, -- цвет получается вялый. Зеленое освещение слишком неблагоприятно... И вы ни в каком случае не хотите наверху, перед домом?

Герцогиня сказала:

-- Вы теряете голову. Я стану совершенно нагая перед изгородью из роз!

-- Это было бы очень красиво, -- возразил Якобус. -- Вам мешают слуги?

Их можно было бы услать.

-- О, они меня мало беспокоят.

-- Моя жена, конечно, тоже нет; ее тоже можно услать... Кто же еще?

-- Кто?

-- Ах, конечно, мальчик!

-- Пишите, пожалуйста.

Опять стало совершенно тихо. Крик "Иолла" рвался из груди мальчика, но никто не слышал его. Дрожа и забыв все, он опустился на колени в своей засаде, прильнул лицом к маске, -- и увидел ее. Она стояла неподвижно, слегка в профиль, повернув шею и откинув назад голову; черный узел волос спускался на светлый затылок. Она упиралась о землю правой ногой, левая была слегка изогнута; а руки, с вывернутыми наружу ладонями, напряженно и легко простирались, готовые высоко подняться для объятия, не знающего себе равного.

Она показалась мальчику белой-белой, каким он никогда не представлял себе женского тела, но не белизной мрамора, нет, скорее белизной лепестка. Щиколотки ее ног -- тонкие белые цветы -- выглядывали сквозь решетку травы. И вся она казалась вышедшей из земли. Она была сестрой этих деревьев. Кусты протягивали к ней свои ветви и в медленной ласке разглаживали длинные округлости ее бедер. Небо окутывало ее лицо, оно хотело похитить его. Его синева победоносным отблеском прорывалась в ночи ее волос. Ее рука была усеяна ясно очерченными тенями листьев, а на них виднелось отражение порхающей птички. В ее груди -- волнующиеся, редкие чаши, -- тучная земля влила свои пьянящие соки, а солнце уносило их вверх в их драгоценных золотых оправах.

-- Ничего не выходит, -- ворчливо пробормотал Якобус. Он писал так, как будто наносил удары. -- Впрочем, это не так важно.

-- Вы видите, -- сказала герцогиня, -- я не ваша Венера.

Он молчал, думая:

"У смертного одра старика ты была ею. Я начал видеть в тебе Венеру. Теперь она уходит от меня, прячется в глубь тебя тем упорнее, чем ближе я подхожу. Уловлю ли я ее, когда буду держать тебя в объятиях? Как необходимо мне верить в это!.."

Он сказал:

-- Вы не Венера? Не так вы можете доказать мне это. Я жду другой пробы. Долго ли еще?

Она ничего не ответила. Нино шептал:

-- О, Иолла, мне страшно. Что ты делаешь со мной? Такое блаженство ужасно. Ты больше не Иолла; я и не подозревал, что существует нечто подобное. Ты принадлежишь деревьям и солнцу, и ящерицам, -- я не знаю... У меня кружится голова: это от света, в его кругах расцветают твои члены. Они ширятся, точно световой пояс, вокруг этой площадки -- нет, вокруг всего, что я вижу... Возьми меня с собой в мир, с которым ты сливаешься, Иолла! Вырви меня из этой дыры, я не могу пошевелиться!

Ему казалось, что он кричит, а он едва шевелил губами. Он чувствовал, как вся его жизнь переходила в маску и через ее пустые глаза изливалась обратно в природу -- вместе с возлюбленной. Его слабые плечи крепко прижимались к краю старого саркофага. Он стоял на коленях, он не мог упасть, пространство было слишком тесно.

* * *

Наступил вечер, трава зашевелилась; тогда мальчик пошел домой. Он велел сказать, что не хочет есть и лег спать. Он не видел никаких снов и проснулся с тяжелой головой.

"Теперь это прошло, -- думал он. -- Теперь я изведаль все... Когда я подумаю, что еще вчера ночью совсем обезумел от страха, что он может быть у нее! Теперь это мне совершенно безразлично. Пусть он рисует ее: как будто она обыкновенная женщина! Ах! Я -- я знаю теперь, что она такое. Это лежит позади меня; никогда, никогда я не переживу этого опять... И это несказанное, это могучее я называл Иоллой. Я хотел целовать ее, пожалуй, и еще большего? Я хотел жениться на ней! Как это, вероятно, смешно! Я мог бы точно так же... точно так же..."

Он поискал сравнения:

..."жениться на море! Или на бoге!"

Ему было стыдно, ему опротивел он сам и весь мир. Ему казалось, что он сможет жить только в одиночестве. Весь день он прятался в саду. За столом он сидел с опущенными глазами. Водянистые глаза Беттины раздражали его; они все время допытывались: "И ты тоже?"

Якобус был плохо настроен. Герцогиня спросила его:

-- Что ваша Венера?

-- Я изрезал ее на куски. Начать ли мне завтра опять? Как ты думаешь, Нино?

-- Вы хотите писать Венеру с Иоллы? Ха-ха!

-- Разве это смешно?

-- О, это глупо!

Якобус закусил губы. Герцогиня сказала:

-- Ты не знаешь, что оскорбляешь нас обоих: господина Якобуса и меня?

-- Тебя нет! -- страстно воскликнул он.

-- Почему ты сегодня как в воду опущенный? Нино, ты дуешься на меня. Сознайся, за что?

Им опять овладел яростный стыд.

-- Ты говоришь так, как будто я влюблен в тебя, -- с неудовольствием заметил он и замолчал.

После обеда он исчез. Герцогиня стояла у перил лоджии, в тени, среди ночных роз. Якобус опирался о перила локтем и говорил ей в лицо; она едва отвечала. Он часто менял положение, чтобы не видеть глаз своей жены. Но они неустанно искали его глаз. Наконец он жестко сказал:

-- В моем распоряжении всего одна жалкая неделя. Здесь все прекрасно, только не ты.

На лице у нее появилась глуповатая гримаса боли, она испуганно и невнятно шепнула что-то. Затем она исчезла. Герцогиня взволнованно сказала:

-- Я говорю с вами серьезно в последний раз. Еще одна жестокость по отношению к этой женщине, и я порву с вами. Вы, очевидно, не знаете, каким несчастным я могу вас сделать.

-- Я знаю это, -- ответил он.

Она опять напомнила себе:

"Эта женщина почти свята в своей беззащитности. Я не хочу еще больше смущать ее бедное сердце. Завтра я скажу ей, чтобы она опять увезла своего мужа".

Но на следующий день шел проливной дождь, и она ничего не сказала. Настроение было подавленное и тревожное. Нино, державшийся вдали от всех, блуждал по дому. В конце извилистого коридора, где висели старые гравюры, он наткнулся на простую белую дверь, которая была открыта. Он увидел себя в зеркале, стоявшем напротив двери, в конце комнаты. В нем отражался также нагой амур, который, выпрямившись, стоял на камине против кровати и упирался луком в бедро.

-- Это ее спальня, -- устало сказал мальчик, пожимая плечами. Он молча оглядел комнату и пошел обратно.

Сорок восемь часов спустя, среди проливного дождя появилась леди Олимпия.

-- Убедитесь, дорогая герцогиня, привязана ли я к вам!

-- По ком здесь траур? -- после короткого пребывания спросила она. Она узнала, что из Венеры еще ничего не вышло, и сострадательно улыбнулась. При прощании, наедине с герцогиней, она воскликнула:

-- Дорогая герцогиня, относитесь менее серьезно к тем фантазиям, которые мужчины преподносят нам и самим себе. Они все живут вымыслом. Действительность проста и принадлежит нам. Желаю вам много удовольствия! Делайте, как я, и играйте из ваших драм -- о, вы сыграете еще много их! -- всегда только первые полтора акта, пока небо ясно. Когда появляются тучи, я уезжаю. Прощайте!

Ночью герцогиня заметила, что дверь ее комнаты широко открыта. Над деревьями поднималась луна. Она увидела в зеркале фигуру, которая погибала за угол в коридоре. Она не удивилась. Не Нино ли это? Конечно: он подошел ближе, положив руку на бедро, бесшумно покачиваясь. Но теперь и амур на камине пришел в движение. Он спустился вниз, вытянулся до такой же вышины, как и первый, они срослись вместе, и перед ее кроватью стоял один мальчик, с высокими, легкими бровями Нино, его

крупными локонами, его короткой, красной губой и с луком Купидона. Он небрежно держал его.

-- Я не сделаю тебе ничего плохого, Иолла, -- зашелестел он, точно голосом месяца, освещавшего пол.

-- Кто ты? -- спросила она.

Он провел пальцами по мягкой сетке от комаров, висевшей вокруг ее постели. Она вдруг вся засеребрилась.

-- Я амур. Я хочу, чтобы ты искала новых игр, извела новое опьянение и была очень счастлива...

Ей чудилось, что его голосок продолжает жужжать. Она лежала, скованная дремотой, под своим серебряным пологом. Тонкая простыня открывала ее, точно нагую. Взгляд мальчика, пламенный и робкий, скользнул меж ее бедер, поднялся по впадине между грудями и впился в волосы; черные и полные блестящих искорок, рассыпались они вокруг всего ее тела, по сверкающим подушкам.

-- Ведь ты Нино? -- беззвучно спросила она.

-- Да, я Нино, -- и я хочу попросить у тебя прощения. Я не мог спать.

-- Это хорошо, Нино, теперь иди ложись.

-- И я хочу еще сказать тебе, как я тебя...

Он вдруг побледнел, вместе с месяцем. Он испуганно остановился.

-- Нет, милая, милая Иолла, этого я не могу сказать тебе. Ты не должна сердиться, я не могу...

Он попятился назад. Месяц спрятался за гардиной. Мальчик исчез.

За завтраком они улыбались друг другу, как после примирения. Небо стало ясным, воздух прозрачным, испарения исчезли. В кустах можно было различить каждую розу. "Что за странный сон", -- думала герцогиня. "А, может быть, это был не сон?" -- в течение секунды спрашивала она себя. "Ах, я точно ребенок..."

Якобус появился поздно. Она не понимала, как он мог еще быть угнетенным. Сама она после сегодняшней ночи чувствовала себя счастливой.

-- Начнем опять сначала? -- спросила она его. -- Сегодня солнечный день. Я готова.

-- Не имеет смысла, -- ответил он, не глядя на нее. Он не показывался до вечера. Обед ждал.

-- Мы не сядем за стол, пока он не вернется, -- сказала герцогиня, снисходительная и озабоченная. Наступила ночь.

Герцогиня сидела одна с Беттиной в лоджии. Луна еще не взошла; в комнатах нигде не горел свет. Беттина тихо сказала:

-- Если только он еще жив!

-- Что вы говорите?

-- О, разве вы знаете, как он несчастен? Вы не можете этого знать, иначе... И его мучит предчувствие смерти, он сознался мне в этом.

-- Когда?

-- Вчера. "В пятьдесят лет я умру", -- сказал он. -- "Тогда она пожалеет".

-- О чем?

-- О творении. Что вы погубили творение; это он хотел сказать, -- думаю я.

-- Ах, это все пустяки. Он идет вперед так же стремительно, как великий Паоло или один из остальных, которые похожи на него.

-- Тем больше он боится в заключение не быть похожим на них. Он боится умереть, сразу став испепеленным и никуда негодным, прежде чем ему удастся последняя, решительная атака на красоту.

-- Это было бы несчастьем. Но что можем мы сделать?

-- О! Я бессильна... Он пишет вас в виде Венеры, не правда ли?

-- И это не удастся ему.

-- Потому что он хочет написать вовсе не вас, герцогиня. После бесчисленных дам истерического Ренессанса он хочет написать Венеру, которая возвышается над всеми женщинами, которую тщетно призывал величайший художник великой эпохи: Анадиомену всей природы! Она выходит из земли, как цветок, ветви деревьев ласкают ее округленные члены, а животные прижимаются к ним. Ее пояс, как кольцо света, охватывает Элладу и весь мир. Небо окутывает ее лицо и сверкает синим отливом в ее волосах. Ее телу обильная земля посвятила праздник своих соков, а солнце носит его, точно в золотой качели.

-- Это было бы прекрасно!

-- Не правда ли? Он знает все это. Но он не видит этого. Он не видит этого!.. Чтобы он мог уловить богиню, она должна принадлежать ему... Так сказал он, -- прошептала Беттина, испугавшись.

Несколько времени спустя, герцогиня прошептала:

-- Все это он сказал вам, вам?

-- Не правда ли? Как несчастен он должен быть, что склоняет голову на мое плечо!

Она опять жалобно замолчала. Герцогине хотелось плакать с бедняжкой. Беттина опять заговорила:

-- Ведь он гений, которого рожаем, которого все снова должны рожать мы, женщины. Ах, не я, не я!.. Каждое из своих творений он взял из женской души -- как Джованни Беллини, а величайшее, несравненное, то, о котором мечтают все творцы, и которого не может создать ни один, -- его должна дать ему самая избранная, самая сильная душа. Если бы это была моя! Но это ваша, герцогиня, ваша! Будьте же милосердны!

Шепот во мраке лихорадочно захватывал герцогиню. Вдруг она почувствовала на своей щеке щеку Беттины: она сразу вспомнила, кто говорит с ней. Она вырвалась.

-- Будьте милосердны! -- бормотала жена художника.

-- Я должна... Вы, фрау Беттина, вы хотите этого?

-- Разве я любила бы его, если бы не хотела этого?

Они прислушивались, как замирал этот крик. Каждая искала в темноте черт другой и находила только бледное пятно.

-- Скажите "да", -- беззвучно просила Беттина.

-- Да, -- сказала герцогиня.

Стул Беттины стукнул в темноте. Она поспешно удалилась.

В саду она встретила мужа; он возвращался запыленный из своего странствия. Несколько времени спустя супруги вместе явились к столу. Всю неутомимую наглость последнего времени Якобус оставил на знойных дорогах; он был тих, почти смиренен. Встав из-за стола, он поцеловал герцогине руку.

-- Благодарю вас. Так это все-таки свершится?

-- Но не здесь, -- ответила она, бросая взгляд на Нино.

* * *

-- Чужие уехали, -- говорил себе Нино в последовавшие за этим дни. -- Я опять один с Иоллой. Но это не то, что было прежде, -- конечно, это моя вина. Я за это время пережил слишком много.

Герцогиня думала:

"Я люблю его -- и разрешила себе эту любовь. Мы быть может, будем счастливы, но это, несомненно, будет тяжелое счастье. Творение, быть может, возникнет; но стоит ли оно того? Я хотела бы, чтобы мне было шестнадцать лет и чтобы я могла бежать отсюда с этим мальчиком: я не знаю куда".

Теперь, на осеннем солнце, она делала свои прогулки вниз, по дороге. Она охотно отдыхала у стены, по которой сновали ящерицы, под высокими арками дикого винограда, который уже начинал краснеть. Нино носился по окрестностям на своей крепкой лошадке. Повсюду в кустах можно было увидеть развевающийся серый хвост.

Однажды в полдень она застала его у подножия холма парка. Он сошел с лошади и, дико смеясь, наступал на широкобедрую служанку с кудрявыми волосами и красными щеками. Рука мальчика исчезла в ее корсаже, она хихикала, высовывая красный кончик языка. Вдруг она взвизгнула и убежала. Нино не заметил герцогини. Он вскочил на лошадь и погнался за девушкой. Она взбежала на лестницу, среди стен лавра. Он погнался за ней спотыкающуюся лошадь, размахивая хлыстиком, в позе героя, который, наслаждаясь собственной безумной смелостью, взбирается на неприятельскую башню. Подковы соскользнули со ступенек, животное опрокинулось назад и упало. Нино скатился вниз.

Герцогиня приблизилась. Вдруг стало необыкновенно тихо. Наверху в листве замер шорох платья. Она подняла голову мальчика; она была в крови. Глаза были закрыты. Она позвонила у ворот. Появился старик; он с причитаниями понес раненого вверх. Герцогиня все время придерживала его голову руками и прижимала к ране свой платок.

Она собственноручно перевязала его. Поехали за врачом. Между тем Нино очнулся и потянулся к ее руке; прикосновением к ней он охлаждал свою.

-- Святая Катерина, -- лепетал он, -- Антонио Фабрицци дает она свою руку... Не мне, не мне... Ему восемнадцать лет, мне четырнадцать. Но я обещаю дьяволу, если он меня сейчас сделает мужчиной... Иолла, если бы это было возможно -- милая Иолла!

Он заметался.

-- Но это невозможно. Ведь я видел тебя Венерой, видел, как ты сливалась с платанами и с синицами, и с солнцем. Как я могу жениться на тебе? Все кончено... И все-таки ты была моей! -- произнес он, и его бормотанье стало неразборчивым.

Неделю спустя вернулась из своей поездки Джина. Герцогиня не писала ей ничего; бледность сына поразила ее.

-- Это не только от падения, -- сказала герцогиня, когда женщины остались одни. -- Он чувствует сильнее, чем следовало бы; он живет более глубокой жизнью, чем свойственно его возрасту. Необходимо закалить его, сделать его невосприимчивым к переменам душевной температуры. Воздух Венеции вреден ему; он вреден и вам, синьора Джина. Отвезите его в Сало, в пансион. Он привык к деревенской жизни, он окрепнет там, вместе с вами, синьора Джина.

Джина опустила голову.

-- Значит, уже... Но мы еще не скажем ему, куда он едет, мы скроем от него, что он больше не увидит вас, герцогиня.

На следующее утро, когда был подан экипаж, герцогиня еще раз позвала мальчика к себе в комнату. Она сказала:

-- Я опять говорю с тобой, как с истинным другом. Что тебе только четырнадцать лет, не разъединяет нас. Я не хочу проститься с тобой с неправдой на устах. Мы не встретимся в Венеции. Ты едешь со своей матерью в пансион в Сало. Ведь у тебя хватит мужества?

Он стоял совершенно холодный, с побелевшими губами. Его взгляд не отрывался от ее лица, и сквозь страдание в нем и теперь чувствовалась мечтательная преданность.

-- О чем ты думаешь?

Он в эту минуту думал только об одном:

"Как она прекрасна!"

-- Я знал это, -- сказал он, почти не шевеля губами. -- Это моя вина. Дальше так не могло продолжаться.

И с внезапным, страстным трепетом, делавшим чужим и неузнаваемым его голос:

-- Ты отсылаешь меня -- навсегда?

Она с нежностью притянула его к себе.

-- Только на несколько лет; пока ты станешь здоровым и мужчиной.

-- Я никогда не стану им, -- жаловался он, опять кроткий и мягкий. -- Я не могу себе этого представить.

-- Это будет. Я знаю это наверно. Я увижу тебя опять -- мужчиной. Чем буду тогда я сама? Все возможно... Иди, Нино, закали себя, стань сильным, здоровым и счастливым.

-- Я постараюсь, Иолла. Но ты не забудешь меня?

-- Я... тебя!

Мальчик тревожно насторожился.

"Это звучит так, как будто... она любит меня, -- подумал он. И сейчас же вслед за этим:

-- Как ты можешь быть таким дураком -- и теперь еще!"

-- Прощай, Иолла.

Он повернулся и пошел. У двери его что-то толкнуло обратно, он опять задрожал.

-- Это очень тяжело. Так много перечувствовать, так много, и ни одного слова... Иолла! -- в отчаянии воскликнул он.

-- Нино?

Он поцеловал ее руку; она сразу стала вся мокрая от его слез.

-- Ничего. Хорошо, что ты сказала мне это вовремя. Теперь я могу проститься и со своим большим другом.

-- С Сан-Бакко, да, и скажи ему, чтобы он думал обо мне. Завтра он уезжает в Рим.

Она стояла под аркой лоджии, когда экипаж спускался с откоса. Нино видел ее сначала до бедер, потом только голову среди роз и, наконец, одну руку, которая поднималась над головой между двумя гирляндами. Он без устали смотрел назад, грудь его вздымалась от рыданий.

-- Теперь уже конец, больше мне нечего ждать.

Но неожиданно наверху раздвинулись волны зелени; из них выступили таинственные ступени, сверкая в свете короны, которая опускалась на любовь мальчика.

-- Иолла!

Там стояла она, высокая, тихая, в светлом платье и с черными волосами, на белой лестнице, манившей в воздухе, среди шумящей листвы, -- и она будет стоять там, он обещал себе это, всю его жизнь, как сказка, слишком прекрасная для человеческих сил, но не забываемая навеки.

* * *

Джина сообщила, что они приехали на место; Нино приписал свое имя. После этого герцогиня вернулась в Венецию. Была ночь, когда она прибыла домой; она сейчас же послала за своим возлюбленным. Ее зов следовал за ним повсюду, где он проходил в течение вечера: в ресторан, к игорному столу клуба, в ложу танцовщицы, в курительную комнату приятеля. Он вертел бумагу между пальцами, бледный, устремив сосредоточенный, глубоко озабоченный взгляд на пламя свечи. Его спросили:

-- Ваш банкир бежал?

Он ушел, говоря себе с торжественно бьющимся сердцем:

-- Я буду обладать герцогиней Асси: это нечто новое! Эта женщина, по мысли и чувству которой я устроил свою жизнь, -- которая сформировала меня, сделала меня мужчиной и художником, -- которую я всегда желал и которой никогда твердо не надеялся обладать...

Проходя по слабо освещенным залам, он среди своего торжества на мгновение остановился и опустил голову.

-- Нужно ли это? -- спросил он себя, почти неслышно для себя самого.

Но его сомнения ушли назад во мрак ночи, которую он оставил за собой, когда он открыл дверь в сверкающий зал Венеры. С потолка и со стен, из тяжелых картин судорожного счастья нахлынуло на него безумие и

упоеание. Среди всего этого покоилась герцогиня: сама богиня, -- и ее объятия были открыты ему.

В несколько мгновений она забыла целомудрие всей своей жизни.

Потом он оглядел ее свободнее, со спокойной мужественностью и легкой насмешкой победителя, достигшего цели.

-- Как бы то ни было, я взобрался высоко. Лона Сбригати, все остальные, Клеллия -- и герцогиня Асси. К чему волноваться; она тоже только женщина.

-- Я только женщина, -- сказала вдруг она сама. -- Не считай этого жертвой. Ты совсем не боролся со мной, согласишься ли ты этому? Свободно и неожиданно пришла я к тебе! Я сделаю тебя великим, потому что люблю тебя.

И он в приливе благодарности бросился к ее ногам. Его опьяненное удовлетворением сердце переполнилось тихой нежностью.

-- Я не могу поверить этому!

И не веря и ликуя, как мальчик, он снова и снова упивался ее телом и ее поцелуями.

Вдруг из бездны наслаждений ее вырвало ощущение страха. Ее всю внезапно пронизало чувство бесплодия, своего и его. Она высвободилась и отошла от него. Он посмотрел на нее, приподнявшись на подушке.

-- Что с тобой?

"Он только мой возлюбленный, -- думала она, слабая от усталости. -- Он никогда не напишет Венеры. Я предвижу все. Мы изнури́м друг друга бесплодными объятиями и в конце концов расстанемся пресыщенными, -- быть может, врагами".

Она оперлась рукой о подоконник. За окном, среди темной ночи, плакал южный ветер. При свете лампочки за решеткой искусственного сада виднелась черная, заостренная гондола. Перед навесом колебалось что-то темное. Герцогиня долго смотрела туда; она знала, что это была тяжело опущенная на колени, вздрагивающая голова. Она знала, что это рыдала женщина. Она знала какая. И она все еще спрашивала, вся застыв:

-- Кто?

Вдруг в ней беззвучно, с трепетом ужаса, поднялся ответ:

-- Беттина!

VI

Всю зиму они жили в непрерывной судороге непрерывного объятия. Часы, когда они не принадлежали друг другу, они проводили полусознательно, безучастные, как тени. Якобус спрашивал себя:

-- Как могла она жить раньше? С ней, и только с ней, я иногда чувствую, что это значит, когда говорят о женщине, что она рождена для любви, -- для любви и ни для чего другого.

Она сама была глубоко изумлена.

-- Я не понимаю, что не завладела им еще в Риме, -- в маленькой, грязной мастерской, не завладела сейчас же, при первом взгляде, чтобы никогда больше не выпускать из объятий. Я не знаю больше, что я делала с тех пор!

Она не чувствовала потребности ни в ком из своих старых друзей. Сан-Бакко дела удерживали в Риме, Зибелинда -- в Германии. Джина была больна и писала редко. Нино коротко и сдержанно сообщал, что работает, закаляется и думает о ней так мало, как только возможно.

Клелия, изгнанная из мастерской своего художника, жила только разговорами и письмами, в которых сообщала миру о новом капризе герцогини Асси. Она не клеветала, ничего не прибавляла; а в глубине души была убеждена, что щадит. То, что делала ее неприятельница, было не только капризом. Клелия, стареющая и скучающая, изощряла свое остроумие, сидя рядом с тупо молчащим мужем. Он только что вернулся из Парижа, где простоял два месяца в углах гостиных. Знакомые приветствовали его, как впервые попавшего в свет провинциала; и тотчас же он почувствовал на себе весь гнет умственной тяжеловесности, которую они приписывали ему. Его молодость со всем ее превосходством была забыта. Никто не помнил его когда-то столь знаменитой выходки на свадьбе его возлюбленной, поцелуя под носом у жениха и *bonjour, bebe, comment sa va*. Подавленный, он заперся в своем дворце на Большом канале, где с гордостью трупа протягивал к намину ноги.

Его жена сидела тут же, в обширном каменном зале; за стеной о порог монотонно плескалась вода; она думала:

"Что меня мучит, это не наслаждение, которое они доставляют друг другу, нет -- слава, чувство власти, которое дает слава, и в создании которого они помогают друг другу. Герцогиня теперь, бок о бок с ним, повелевает свитой художников, журналистов, завистников, покупателей, льстецов, глупцов, прихлебателей, которой он не хотел держать в угоду мне, и которая разносит его имя по всей Европе. За это он подарит ей одно творение, которым уже теперь газеты возбуждают любопытство всего мира: Венеру.

Ах! Я не открою никому, что эта Венера не появится никогда; но я знаю это. Он -- мастер рассказывать истории. Самое высшее, что он создает, -- не творение; это представление, которое он внушает каждой из нас, женщин, что она -- его муза.

Пока она считает себя его Венерой. Возможно также, что она уже забыла это. Жужжанье ее взволнованной крови заглушает теперь все. В искусственном холоде своего гордого одиночества она так долго отказывалась от мужской любви! Теперь она хочет разом насытиться вполне. Невозможность насыщения повергнет в грусть их обоих, ее и его. А бешеное желание все-таки достигнуть насыщения перейдет в желание умереть или убить друг друга.

Но не это отметит за меня! Смерть в вихре наслаждений была бы менее плоской участью, чем моя. Но будем спокойны, она не предназначена ей. Ее кровь, только теперь проснувшаяся, среди всей этой катастрофы возмутится против уничтожения. Она будет жаждать все более горячего упоения. Она пойдет туда, где опьянение вернее всего: к актерам, цыганам, к простонародным силачам. Сегодня она царица позолоченной богемы, приезжающей посмотреть его мастерскую. Завтра она будет ею для богемы

пищей и бесшабашной. Уже говорят, что она была с ним за кулисами театра Малибран и долго беседовала со Сличчи, порочным клоуном, к которому, как кажется, мы прибегаем, исчерпав все остальное.

Если бы это было правдой! Я не смею считать это возможным. Но тогда все было бы решено. Ее будущую карьеру я могла бы описать, сидя на своем стуле. Дикая погоня за любовью по всему югу и западу континента; пышное уединение в низких виллах за пальмовыми рощами и шумные увеселительные поездки по курортам и игорным домам, с накрашенным лицом, в лихорадочном утомлении, со свитой мускулистых мужчин с чересчур крупными брильянтовыми булавками; исключение из света, сострадание поэтов, быть может, бедность! Быть может, замужество -- дадим ей этот последний козырь, эксплуатация честного имени: все это в непобедимой невинности сознания своей стоящей вне законов единственности, скандал, продажный переход из постели в постель. Что еще? Алкоголь? Или фальшивые векселя?.."

-- Что с тобой, моя милая? -- протяжно спросил ее муж. Клелия застонала; сладострастие ненависти довело ее почти до обморока.

* * *

Наступила весна. На солнце Якобус почувствовал себя подавленным и усталым. Он тщетно ждал от первого тепла зуда в спине. "А Венера?" Им овладели угрызения совести.

-- Ты тоже забыла ее? -- спросил он герцогиню.

-- Кого?

-- Венеру.

Она пожала плечами.

-- Напиши же ее!

-- Я напишу ее. О, не обращай внимания на меня. Я знаю твоё тело наизусть. Тебе не надо изображать передо мной ее, богиню.

Но она, не думая о том, изображала перед ним то Данаю, то Венеру, то Леду. Она стояла в нишах, изогнув одну ногу, закруглив бедро, прислушиваясь к шуму в раковине. Белый поток ее членов изливался по бледным простыням. В восторге, с бессильно свисающей рукою, смотрел возлюбленный на ее игру. В ней была грация и уверенность. Великие сладострастницы мифов проникали все в ее тело; она чувствовала в себе каждую из них. Она сказала.

-- Я грежу о роскошной стране; она пенится от избытка плодородия, она поет от теплоты, она дрожит от благоуханий. Жизнь там должна быть нагая и неисчерпаемая.

-- Пойдем туда. Поищем ее, -- сказал он не особенно уверенно.

-- О, я не удовольствовалась бы тобой. Ты должен подготовиться к тому, что я буду Венерой до конца: я милостиво возьму в свои объятия каждого, кто мне предан! Двое людей, караулящих друг друга, никогда не завоюют всей власти тела. Для великого культа тела нам недостает вакханалий, друг мой. Раньше ты не напишешь меня... Но, я вижу, ты больше влюбленный, чем человек, одаренный могучими чувствами, -- чем творец.

Он краснел и бледнел при ее словах; он ощущал их, как удары бича. У него захватило дыхание от желания видеть ее, наконец, настолько утомленной, чтобы у нее больше не оставалось сил для вожделений.

"Я не могу научить ее опьянению вакханалий, -- сознался он себе, скрежеща зубами и накладывая мазки. -- Я не могу также дать ей Венеры".

Он возмутился.

-- Это безумие -- хотеть создать что-то большее, чем простое женское тело.

-- Ты должен сделать больше... Если ты не можешь этого сегодня, забудь все. Забудь краски и уголь, помни только мое тело!

Но он гордо прогуливался по комнате, тщеславный и упрямый.

-- Пожалуйста. У меня здесь собралось двадцать этюдов, очень недурно сделанных. По-твоему это, кажется, мало?

-- Очень мало.

-- Если я дам эти листы отлитографировать и переплести вместе...

-- Ты не дашь ничего литографировать.

-- Как это, ничего? Весь мир будет удивляться мне. Разве это не сильно?

-- Но это не Венера.

Он съезжился и сел. Он показался ей вдруг совсем серым.

-- Ты права, -- сказал он. -- Я устал: что я могу еще сделать? Я слишком стар, я люблю тебя, не как юноша, который, глядя на тебя, видит только свою мечту. Его глаза обвешивают тебя пестрыми лоскутьями; сама ты исчезаешь. Я же вижу и люблю тебя такой, какова ты на самом деле, -- отрекаясь от самого себя, до забвения, и совершенно иначе, чем моих прежних возлюбленных. Те были для меня средствами для искусства. У тебя же мне противно красть совершенные линии твоего тела и переносить их на полотно, искажая их в угоду какому-нибудь идеалу. Ты для меня не произведение искусства, о, нет, я ненавижу искусственную Венеру, которую должен сделать из тебя. Для меня -- я сознаюсь во всем! -- для меня, стареющего, ты последний смысл, который получает моя жизнь, последняя остановка, последний отдых перед тем, как скатиться с горы. С тобой я хочу забыть то, что должно наступить; хочу погрузиться в тебя и наслаждаться тобой полно и бесцельно.

Она слушала, оцепенев. Он прибавил:

-- Когда я безнадежно желал тебя, я мог создавать картины из моих вожделений; это было заблуждение, что мы должны любить друг друга... Потерпи десять лет: быть может, когда я буду холодно и равнодушно вспоминать о тебе... Но теперь, в этом году, все холсты останутся пустыми. О Венере я не знаю ничего, я вижу только тебя, только тебя. Какое счастье! Смотреть на предметы и не быть вынужденным рисовать их.

Так как она молчала, он спросил:

-- Ты понимаешь это?.. О, если бы ты знала, что это за ужас не смотреть ни на один предмет без вопроса: должен ли я его нарисовать?

Она уже не слушала, она думала о Нино.

"Ах! Он видел ее, видел Венеру -- на зеленой площадке, в колышущейся траве. Его отроческий взор влил в мои члены соки всей земли. Если бы я

могла изведать все ее сладострастие! Он, может быть, научил бы меня ему? Он так молод... С ним, с ним хотела бы я достигнуть той знойной роскошной страны!"

Она сравнила его с Якобусом. Ее возлюбленный сидел верхом на стуле, ухватившись обеими руками за спинку и уныло и тоскливо прижавшись к ней щекой.

-- Я в таком же состоянии, -- объявил он, -- как тогда в Риме, перед тем, как ты вошла в мою жизнь. Я продал все свои этюды и не мог больше писать... Ты вернула мне их. Но того, что я потерял теперь, ты не вернешь мне обратно.

-- Что же это?

-- Моя невинность... Да, сударыня. Вы, вероятно, думаете, что я уже любил до вас? Но вы ведь знаете, душа в парке была моей единственной любовью. Когда я пришел к вам, я был еще совершенно невинен, был ребенком, которого вы погубили.

-- Очень жалею, -- презрительно сказала она, отворачиваясь.

Его пожирающие взгляды блуждали по ее фигуре. Она сидела выпрямившись на темно-красном диване. Под мышкой у нее блестела свернутая шелковая подушка; обнаженная рука с упругими формами и голубыми жилками была изогнута. Одежда держалась только на одной пряжке на плече; она торжественно открывала бюст. Красные кончики грудей склонялись, дыша, и дыша отвечало им сверкающее углубление над животом. Скрещенные ноги вытягивались под дрожащей тканью. На выпуклой синеве открытого окна вырисовывался на гордо поднятой шее светлый профиль, полный страстного величия. В голове Якобуса все сильнее звучали слова:

-- Горящая в лихорадке статуя императрицы!

Он вскочил, в мгновение ока изменившийся, помолодевший, в одно и то же время дерзкий и вкрадчивый.

-- Разумеется, все это были глупости и слабость. Что это было бы за великое" творение, если бы оно не делало нас на мгновения очень маленькими, не пугало нас недостижимостью своей безумной высоты? Этот страх моментами заставляет нас тосковать по бездумным подражаниям действительности. Это творение -- ты, ты, единственная, нежданная! Надо только верить в тебя -- и в себя! Я могу сделать очень много, больше всех остальных... И я могу молиться на тебя.

Он лежал перед ней, прижавшись губами к ее коленям.

* * *

Но его рисовальные принадлежности исчезли из спальни. Они никогда не говорили больше о Венере. Она только парила над их объятиями, грозная, немая и неумолимая, -- могучая пожирательница людей, -- и делала их мрачнее и ожесточеннее.

Однажды он не пришел к ней и известил ее, что работает. Неделью спустя он пригласил ее к себе: "Я покажу ее тебе"...

Когда она вошла, он разбитый и весь поблекший лежал на кушетке.

-- Вчера она стояла там, совершенно законченная, -- сказал он, указывая на пустой мольберт.

Ей стало душно. В страхе она протянула к нему руки, точно из-под нее ускользала почва.

-- Ты не должен больше мучить себя. В один прекрасный день она появится сама собой.

-- Откуда ты знаешь?

-- Наша любовь не может быть бесплодной. Ведь мы слишком велики: верь этому... Предстоят жаркие дни. Поедем со мной по морю, в моей яхте. Хочешь, завтра?

Но в лиловой хрустальной дали он разочаровал ее еще безнадежнее. Море и небо захватили ее. Все ее существо стремилось навстречу сияющим богам, протягивавшим к ней из света и воды могучие руки. Возвращаясь к единственному спутнику своего безграничного одиночества, она заставляла его хмурым, измученным, несчастным. Она увлекала его в каюту, в полумрак.

-- Я не отпущу тебя, несмотря ни на что. Ты должен любить меня. На тебе долг передо мной!

Он желчно сказал:

-- Страсть к тебе уже научила меня ненавидеть мое искусство: разве этого недостаточно? И я чувствую только бешеное желание насиловать тебя, -- но не любовь. Любовь и искусство -- все к черту!

Она закрыла ему рот рукой. Они бросились друг на друга, бледные, с закрытыми глазами, изнывая от страсти и желания причинить боль друг другу.

Когда они опять вышли на сушу, они вдруг стали чужими. Они недоверчиво оглядывали друг друга, им нечего было друг другу сказать. Каждый испытывал потребность уединиться, избавиться от другого и, забившись в тень, ждать только одного. Они не говорили даже самим себе, чего. Но они видели это один на другом. Они стояли там, где видела их Клелия. Юная сибилла со старческими чертами у своего камина предсказала разочарованной любви ее последнее желание, которое прочла в извивах горящего дерева: желание смерти.

* * *

Жажда удовлетворения все снова гнала их друг к другу. Герцогиня искала средства преодолеть самое себя и порвать с ним. Она вспомнила о его жене; с той первой ночи, когда она сидела и рыдала за решеткой сада, на лагуне, Беттина исчезла.

-- Где она?

-- Спроси доктора Джианини.

От врача она с трудом добилась признания, что фрау Гальм находится в лечебнице для умалишенных. Она была вне себя и потребовала, чтобы он немедленно поехал вместе с ней за несчастной.

-- Куда же ее поместить, ваша светлость?

-- Мне все равно. Хотя бы в Кастельфранко. О, она никому не принесет вреда. Я распоряжусь, чтобы за ней был уход.

Не успели Беттину усадить в гондолу, как она принялась болтать с подергивающимся лицом:

-- Слава! Слава! Творение появилось на свет! Оно готово, не правда ли?.. Нет? Вы не отвечаете?.. Ах, я знаю и без того, что все было напрасно. Если бы творение появилось, это было бы сейчас видно. Мир выглядел бы иначе. На всех лицах можно было бы прочесть: оно явилось!..

Она указала на врача.

-- Какой у него угрюмый вид! А я сама стала еще безобразнее, правда? Не везите меня к нему, только не к нему! Мой вид может повредить творению; ведь оно спит в нем, нерожденное.

Она распустила волосы и закрыла жидкими прядями лицо.

Герцогиня не смотрела на безумную. Перед ее глазами стоял, как во время другой поездки по морю, много лет тому назад за парусом большой рыбацкой барки потрясенный горем человек. А за ее спиной, в полосе воды, которую оставляла за собой лодка, плыл его мертвый ребенок. Она вздрогнула и очнулась.

Беттина вытянула руку.

-- Какое красивое красное пятно там, в воде, -- оно отливает пурпуром, о, оно совсем пурпурное!.. Вот мы подъезжаем ближе, оно темно-красное, -- нет, коричнево-красное... Ах, оно стало совсем коричневым -- фуй -- вот оно.

Она высунулась из гондолы так далеко, что врач вскочил. Затем она вынула из воды руку, подернутую зеленым налетом.

-- Тина! -- сказала она, глупо смеясь. -- Так бывает всегда, когда мы исследуем красоту до дна.

Но герцогиня, слегка открыв губы и глядя прямо перед собой большими, ясными глазами, видела вдали на подернутой золотистой дымкой сине-зеленой глади лагуны что-то белое, колыхавшееся розовыми бедрами: странное дитя, пляшущее на краю сверкающего изумруда. Это была сама Венеция. И это было чудо, которое могло устоять и перед подходившими близко к нему. Это было одно из тех чудес, которые никогда не перестают существовать для тех, кого однажды осчастливили.

* * *

Она поехала с Беттиной в свою виллу и среди роз, дубов, фонтанов не слышала ничего, кроме голоса несчастной, обвинявшей ее.

-- Это ваша вина. Вы не дали ему творения. А я так умоляла вас -- там, в лоджии, во мраке...

Тягучий голос доносился до нее, точно припев ее собственных мыслей, даже ночью, когда она, разгоряченная, с бьющимся сердцем и в беспричинном страхе, лихорадочно простирала руки к звездам. Темный воздух ласкал ее обнаженные члены. Амур на камине не шевелился, она не слышала больше его болтовни. Она слышала только Беттину.

-- Я опять прибегаю к морфию и сульфону, как когда-то в Кастель Гандольфо, когда разбилась моя мечта о свободе. Теперь угасает тоска, горевшая в глазах Паллады. С закрытыми глазами, открыв объятия и подставив грудь ветру, я бросаюсь в пурпурный водоворот... О, я заранее приветствую все, что должно случиться. Но меня утомляет ожидание. Когда-то я ждала журналиста, который должен был написать статью, теперь художника, который обещает мне картину.

Он писал:

-- Будь спокойна, я найду ее. Она не уйдет от меня. Скорее я умру над своим творением. Даже когда я сплю, мой дух работает, как бедный крестьянин, который даже в темноте трудится над своим полем.

Она провела лето, забившись в самую чащу парка. Она приветствовала осень; осенняя погода наступила уже в сентябре, и она, прильнув к низкой верхушке клена, чувствовала, как смыкается вокруг нее в тихом воздухе темно-золотая, еще не тронутая листва, точно плащ из наслаждения, -- тяжелого, все забывающего.

"После него, -- обещала она себе, -- я возьму наслаждение от многих мужчин, от которых я не буду требовать, чтобы они делали из меня богиню. У них не будет неудовлетворенного стремления, и у меня тоже. Мы будем счастливы".

Наконец, Якобус объявил:

-- Я кончил, приезжай!

Он открыл перед ней дверь мастерской с подобострастным и озабоченным видом. И тотчас же из середины комнаты на нее глянули покрасневшие, мигающие глаза фон Зибелинда. Его портрет стоял там вместо Венеры.

-- Это и есть творение? -- спросила она.

-- Да, -- тихо, стискивая зубы, сказал он.

Она оглядела жалкую фигуру нарисованного и бледную, безжизненную гримасу его накрашенного лица. И она вспомнила богатую, питающую все богиню, которую видел Нино. Она была полна соков земли, -- а этот презирал землю, потому что у него не было сил завидовать ей. Светлые тени зрелости расцветали в углублениях ее тела, -- а на его жалких членах фиолетовыми пятнами выступали сгустки его обнищавшей крови. Его голова подмигивала на темном фоне, мучительно поглощенная самонаблюдением; на лице выражались глубокомыслие, тщеславие и стыд. Ее голова окунулась в небесную синеву, и сверкала и возвещала благодать. Она сообщала свое дыхание всему, среди чего жила, в избытке счастья обнимая весь мир. Он же должен был беречь свои силы, он не смел любить никого.

-- Это великолепная вещь, -- заметила, наконец, герцогиня. -- Вы никогда не создавали ничего лучшего.

-- Не правда ли? -- в страхе воскликнул он. -- Это шедевр!

-- Шедевр, -- повторила она. -- Но какое отношение это имеет ко мне?

И она повернулась к двери. Он не отставал от нее.

-- Куда вы? Неужели все кончено? Ведь я не противлюсь. Вы правы, между нами все кончено. Но...

Чем он мог удержать ее?

-- Одну минуту! Идите куда хотите. Но не возвращайтесь в свое имение! Вы еще не знаете, -- голодный бунт распространился и на эту местность. Повстанцы опустошают виноградники, слышите, почему им не ворваться и в ваши? Они убили поблизости от вас булочника, повысившего цену на хлеб. Они запрещают убивать скот. Чем же жить? Это анархисты... Герцогиня, оставайтесь, с вами случится несчастье.

-- Со мной, -- нет, -- ответила она. -- Моя судьба обещает мне еще многое. Я верю ей.

-- О, -- с усталой насмешкой произнес он. -- Верите!.. Я тоже верил.

-- Нет. Вы только жаждали... Моя же жизнь -- художественное произведение, которое было закончено еще перед моим рождением: в этом моя вера. Мне надо только воплотить его до конца. Меня не прервет никакая случайность.

-- Тогда прощайте.

* * *

Она бежала обратно в свою виллу, она заперлась у себя, ломая руки.

"Теперь я свободна. Что же теперь? Теперь я могу двинуться в путь, все дороги открыты. Но мне страшно, я сознаюсь в этом. Со мной будет то, что было с заблудившейся нимфой. Каждое дерево будет протягивать ко мне свои ветви. Каждый бродяга будет хватать меня в свои объятия. Мои прихоти отдадут меня во власть всем, кто захочет меня. В какие приключения бросит меня моя кровь!"

-- Еще нет! Отдохнуть еще минуту! Я десять лет жила в безопасности. О, я не труслива. Я иду навстречу всему. Мое одиночество никогда не станет более глубоким... Разве есть кто-нибудь, равный мне? Если да, я хотела бы прежде провести с ним радостный час. С Сан-Бакко! -- с облегчением воскликнула она.

Она отправила ему телеграмму.

"Если она застанет его, он будет завтра ночью здесь".

Она считала часы. Она ждала его, как возлюбленного, который связал себя с ней обещанием уже много лет тому назад. Если когда-нибудь ей понадобится рыцарь и честный человек, -- так написала она ему тогда. Он хотел тогда для нее вторгнуться в Далмацию. Позднее он дрался из-за нее на дуэли. Каждый раз он думал, что это момент, когда она зовет его. Нет! Момент наступил только теперь, и она звала его, чтобы любить его!

Она забыла старика, который расстался с ней год тому назад; она видела перед собой энтузиаста-бунтовщика, который когда-то возбуждал к восстанию далматских пастухов. Он боролся с жандармами, сопротивляясь не на жизнь, а на смерть. Затем он шагал по ее будуару и говорил. Слово "свобода" было из гибкой стали. Он был строен и широкоплеч, белоснежный вихор развевался на его голове, рыжая борода плясала, голубые, как бирюза, глаза сверкали.

И она ждала. День прошел; она послала навстречу ему экипаж. При первом лунном луче она вышла в сад. Ночи опять стали темными. Она без усталости ходила перед подстриженными дубами. Некоторые стены были залиты белым светом и полны крупных бледных капель: то были розы; перед другими сторожил мрак с распростертым покровом. На далеком небе, покрытом серебристыми, точно жемчуг, облачками, выделялась сверкающая, легкая струя фонтана. Из больших чаш балюстрады на террасу беззвучно изливался ручей серебряного света. Он разливался внизу по спящим верхушкам масличных деревьев, он протекал по лабиринту виноградника, стекал в долину и уходил вдаль. Каменные острова, гирлянды сверкающих садов плавали в нем, и он разбивался о неподвижные стены кипарисов.

Дорога у откоса исчезала во мраке и появлялась снова между сверкающими стенами спящих деревенских домов. Вокруг них висела серебристо-серая паутина. Под каждым деревом на светлом лугу лежала круглая тень, точно его отражение. Вдруг с одной из колоколен донесся удар. Она слышала его, видела, как раскачивался колокол -- мгновение длилось бесконечно. "Второго не будет", -- обещала она себе. Но он уже раздался, а за ним последовали другие, торопливые, жалобные, возвещавшие несчастье. В только что молчаливых домах вспыхнули красные огни. По улице задвигались другие, большие, вспыхивающие неровным светом. В дыме, который они распространяли, происходила какая-то беспорядочная, наводящая страх, беготня. Слышались голоса и звон оружия.

Она ждала, неподвижно стоя у перил, опустив руки, откинув голову. Вдали, над испуганной страной зловеще высились черные, волнующиеся массы гор. Она надеялась, что они зашевелиются, сдвинутся с места, раздавят все -- долину, деревни, даже холм, на котором она стояла, -- чтобы не случилось ужасное, чтобы она не могла узнать о нем. Но она уже знала.

Факелы свернули на дорогу, которая вела к ней. Они исчезали среди лиственных масс, края которых окрашивали, и все снова находили открытую дорогу и неумолимо поднимались вверх: они, и люди, и то, что они несли. Герцогиня ждала их. Она не шевелилась, пока носилки с его телом не очутились перед ней. Она выслушала тихий рассказ и сделала знак: "Идите!"

Затем она в своем белом платье, которое сверкало, со своими черными волосами, которые искрились, неторопливо опустилась возле своего мертвого друга, прильнув грудью к его окровавленной груди. Она целовала его и говорила с ним.

-- Вот ты. Толпа задержала тебя: она ревновала тебя ко мне... Ты доволен? Ведь ты хотел, чтобы народ привлек тебя к ответственности за то, что не были исполнены обещания великодушных времен. Но ты, друг, исполнил все, что обещал, никогда не сходя со своей далекой от житейской мудрости высоты. И я тоже сделаю все, что обещала. Все меняется, но мои чувства все те же, такие же гордые, как твои. Сначала в моих объятиях лежали грезы, потом их сменили картины, а теперь их место займут горячие тела...

знаешь ты, все, все безразлично, что мы делаем, и что совершается с нами, -- важно только одно: души, чувствующие друг друга!

Она чувствовала его ответ. Она согревала его губы, и лунный свет, струившийся с дома, с фонтанов и деревьев, был свидетелем самого нежного часа ее жизни.

Она встала.

-- Проспер, мы уезжаем.

Егерь не решился сказать, что внизу у дороги караулит мятеж: он знал свою госпожу. Он сказал:

-- Ваша светлость, карета сломана.

-- Вели заложить коляску. Позаботься о моем чемодане.

-- А господин маркиз?

-- Пусть управляющий положит его в зале. Мы телеграфируем в Рим. Его захотят взять туда, пусть берут.

Проспер поклонился и ушел; она с изумлением смотрела ему вслед. Он немного дрожал после такой ночи, этот старый слуга, который с самой глубины ее юности и до сих пор всегда ходил по ее пятам, молча, незамечаемый ею -- и, быть может, не чужой?

-- Он стар, и... -- сказала она Сан-Бакко, -- ты тоже стар: я забыла это. Не достигла ли я сама незаметно сорока лет? Но я чувствую в себе силу ста человек!

Она вошла в дом и оделась. Слуги поехали вперед. Она одна медленно вернулась к мертвому. Он лежал в лунном свете, совсем застывший. Лунный свет разливался голубыми кругами по гравию, он струился с крыши, капал с ваз и чашечек цветов, разглаживал бедра полубогов в изгородях. Он окружал ореолом голову мертвеца.

Она разжала руки, отвернулась, медленно, шаг за шагом, подошла к балюстраде и стала спускаться вниз по лестнице, ступенька за ступенькой. Ее плечи и голову окутывало серебро, -- и юная, с душой, открытой всем далям, спускалась она в залитые лунным светом кусты, точно в ладью, уносившую ее к неведомым берегам.

Первое издание перевода: Манн, Генрих. Минерва (Второй роман из трилогии "Богини или Три романа герцогини Асси") / Перевод с немецкого А. Полоцкой. -- Москва: "Польза" В. Антик и К°, 1911. -- 271 с. ("Универсальная библиотека", No 352-354).